

Памяти Б. Грушина

Библиотека Института современного развития

АЛЕКСАНДР РУБЦОВ

**РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ВЫЗОВ МОДЕРНИЗАЦИИ**

Москва
Экон-Информ
2009

УДК 323.2
ББК 66.3(2Рос)0
Р82

Р82 Рубцов А.В. Российская идентичность и вызов модернизации. – М.: Экон-Информ, 2009. – 260 с.

В монографии задача российской модернизации начала XXI-го века рассматривается в свете новых вызовов истории, когда отставания становятся необратимыми, а провал модернизационного проекта оказывается чреват неприемлемыми последствиями для страны в целом. В качестве важнейшей составляющей процесса модернизации анализируется смена идентичности – как в плане содержания, так и с точки зрения институтов ее формирования, включая официальную и «теневую» идеологию. Обреченность страны на новый Большой Проект рассматривается на фоне постсовременной парадигмы и пересмотра основ техногенной цивилизации, когда свобода и право становятся главными «инвестициями в человека».

ISBN 978-5-9506-0447-8

© Рубцов А.В., 2009

© Институт современного развития, 2009

От издателей

В конце ноября минувшего года российский премьер, выступая перед делегатами съезда возглавляемой им партии, засвидетельствовал: «кризис, начавшийся как финансовый, на наших глазах превращается в кризис экономический». Сегодня один за другим вскрываются новые слои кризиса – информационный, административный, социальный, психологический. Сталкиваясь с новой реальностью, люди вынуждены переоценивать собственную роль и место в обществе. Меняются ожидания и даже ценностные ориентиры целых общественных групп. Иными видятся ближайшие и стратегические перспективы страны, реальные ресурсы и условия ее развития.

Шансы являются оборотной стороной рисков – такова природа любой динамичной ситуации. С одной стороны, сегодня невозможно категорически отрицать опасность нарастания панических настроений (хотя пока в России свидетельств такой опасности, нужно признать, немного, не в пример, скажем, Центральной Европе). С другой стороны, именно утрата прежних иллюзий даёт людям возможность более трезво взглянуть на себя, на свои возможности и перспективы, оценить свой потенциал, начать поиск новых возможностей самореализации. Все это особенно важно после «опьянения ростом» последних нескольких лет.

Кто мы, какие мы? Соответствуют ли наши представления о себе нашему же самоощущению (не говоря о реальности)? Какое общественное и экономическое устройство отвечает нашей действительной, а не фиктивной ментальности? Какие подходы к реформированию политической и социально-экономической системы окажутся наименее болезненны и наиболее эффективны? Какой резерв времени отпущен нам на такие преобразова-

ния? Какие сценарии могут быть реализованы, если Россия и на этот раз не решит в полном объеме задач модернизации?

Разумеется, ни одно исследование не может претендовать на безусловность выводов и обязательность предложенных мер. Мы рассчитываем, что книга А.В. Рубцова станет зачином широкой дискуссии, даст импульс более глубокому исследованию поставленных в ней проблем. Институт современного развития приложит усилия к тому, чтобы выявить и свести воедино мнения и рекомендации экспертного сообщества по тем вопросам, подходы к решению которых намечены в публикуемой работе.

Председатель Правления
Института современного развития
И. Юргенс

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Идентичность как национальная задача: политический и интеллектуальный аспекты.....	9
Идентичность в постсовременном мире. Атака на самость	25
Контурь идентичности. Сборка	38
Идентичность как анкета. Вопросы	42
Идентичность как опрос. Ответы	54
Идеи и прагматика	76
Идеология и политика	87
Вертикаль социально-экономической идентичности.....	100
Идентичность как субстанция и как институт	110
Еще раз к вопросу о некоторых недостатках нашей идеологической работы.....	118
Последние метаморфозы российской идентичности	134
Время идентичности. Длинные волны и «пыль истории»	148
Время идентичности. Прошлое, данность, проект.	174
Инновационная модель как смена идентичности. Мегапроект	190
Идентичность и «национальные идеи». В поисках жанра.....	208
Вместо заключения. Последняя модернизация: прорыв в будущее или тоннель в конце света?	233

История русской культуры – вся она в перебоях, в приступах, в отречениях или увлечениях, в разочарованиях, изменах, разрывах. Всего меньше в ней непосредственной цельности. Русская историческая ткань так странно спутана, и вся точно перемята и оборвана... Издавна русская душа живет и пребывает во многих веках и возрастах сразу. Не потому что торжествует и возвышается над временем. Напротив, расплывается во временах. Несоизмеримые и разновременные душевные формации как-то совмещаются и срастаются между собой. Но сросток не есть синтез. Именно синтез и не удался.

Г. Флоровский

ВВЕДЕНИЕ. ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

В начале нового века Россия оказывается перед вызовом очередной форсированной модернизации. Но теперь все куда серьезнее. Прямо сейчас мир стремительно делится на тех, кто уже вошел или еще успевает войти в поток ускоренных изменений, и на тех, кто в него уже никогда не войдет. Человечество попадает в совершенно другую Историю – с другой *эсхатологией прогресса*. Историческое движение меняет формат и графики: время *догоняющих модернизаций* на исходе, уже практически кончилось. Теперь и впредь более нельзя рассчитывать, что в критический момент можно будет снова собраться с силами и духом, отмобилизоваться, догнать и перегнать. Отставание в любой момент может стать *необратимым*.

Новая историческая динамика требует переоценки извечного российского архетипа: лежмя лежать тридцать лет и три года, а потом перед лицом смертельной угрозы вдруг вставать во всю свою богатырскую силу и разить врагов целыми улицами и переулками. Привычная схема, в которой спячки восполнялись героическими прорывами и повальными жертвенными мобилизациями, уже не работает. *Муромский синдром* с его временно атрофируемым атлетизмом на этот раз страну может просто погубить. Для непонимающих подлинные масштабы бедствия выяснятся потом – когда в экономике сырьевых продаж начнутся

срывы куда серьезнее нынешней пародии на кризис¹. Сколько времени отпущено нам на диверсификацию и модернизацию (а, строго говоря, до обвала экономики экспорта сырья и вертикального перераспределения) – 10, 20, 40 лет или почти ничего – вопрос, как ни странно, теперь даже не первостепенный: в любом из этих сценариев *точки невозврата страна проходит уже сейчас*. И если нынешний мировой кризис рано или поздно закончится, то для нас это только репетиция другого, полномасштабного *постсырьевого* кризиса, который ударит поперх глобальных циклов, когда у других все уже более или менее войдет в русло.

Или для очередного исторического срыва России хватит уже и этой репетиции²?

Далее, надо понимать, что *смена вектора развития с сырьевого на инновационный* – проект не менее эпохальный, чем построение плановой экономики или создание на ее руинах современного цивилизованного рынка. Речь идет о «смене формации». Тем более что на пути в инновационное, наукоемкое и высокотехнологичное будущее нам предстоит пройти еще и второе издание промышленной революции, провести *реиндустриализацию в постиндустриальную эпоху*, проще говоря, восстановить способность к

¹ Имеется в виду ситуация конца 2008 – начала 2009 гг.

² Точнее, это тоже глобальный цикл, но другого масштаба. Это не кондратьевская ритмика (в которую мы тоже встроены), а большой цикл «расцвета», колебаний и упадка сырьевых экономик. В прошлый раз не стало Союза Советских Социалистических Республик. Теперь особо дальновидные люди считают, как скоро углеводороды перестанут быть единственной «резервной» *энергетической валютой*. Или ближе – как скоро Россия из-за роста себестоимости сырьевых товаров начнет проваливаться на этом рынке.

производству как таковому (независимо от степени его инновационности, высокотехнологичности и т.п.). Только кажется, что *эту* страну можно сделать инновационной или хотя бы самостоятельно производящей – на деле, для несырьевой модели уже нужна *другая страна* – с другой политикой, государственностью, регулированием, с другими социально-экономическими и даже просто человеческими отношениями, наконец, с другой ментальностью и моралью. Старая *голландская болезнь*³, пустившая в новой России глубокие метастазы, вообще плохо лечится (и то больше в теории), а для особо больших стран с застарелой институциональной средой и нездоровой политикой она и вовсе чревата летальным исходом. На повестке дня модернизация, которая либо будет *тотальной*, в том числе социальной и политической, либо провалится, вместе с существующим порядком и государственностью, не говоря о репутациях.

Модернизация⁴ – частный случай *изменения*, которое, в свою очередь, означает *смену идентичности*. Если изменение целенаправленное, оно требует достаточной ясности в отношении исходной идентичности, нынешней и той, к которой планируется перейти. Безотносительно к целям, изменения точно заведут в тупик, если плохо понимать, что именно представляет собой изменяемое. Впору вспомнить Ю. Андропова: «Мы не знаем общества, в котором живем».

³ Этот эпикриз не нов и изучен: сначала проще все купить на нефтяные деньги – потом нечего восстанавливать в собственном производстве.

⁴ Встречающиеся в последнее время попытки ради чистоты языка заменить англицизм «модернизация» нашим словом «осовременивание» не кажутся удачными. Хотя бы потому, что моему вполне русскому языку это слово неудобно выговаривать.

Это тоже привычный вывих: запускать изменяющую страну машинерию, не всегда понимая при этом, что реально включается в процесс изменений в качестве исходного состояния и что именно моделируется в будущем, каким образом исторические переходы такого масштаба вообще возможны.

Тем более это критично для *не вполне настоящих* социумов, во многом построенных на мифах и обманках, имитациях и суррогатах, на невнятных идентичностях и ложных идентификациях. Такие общества, в которых все не вполне соответствует вывескам и именам, часто не только плохо знают себя, но и всячески бегут от такого знания, препятствуют ему, вытесняют и прячут, конспирируют. И это не только происки власти.

В этом смысле проблема идентичности для нашей перезревшей модернизации – одна из ключевых. Это как с отдельным человеком: по инерции можно жить, так и оставаясь плохо знакомым с самим собой; но если что-то в жизни ломается или приходится всерьез менять, вопрос о том, *что я есть*, встает во всей болезненности самоанализа и самооценки. Тема российской идентичности всплыла сразу после распада идентичности советской. Затем к ней несколько охладели, к тому же по ходу разобрав ее на отдельные направления (этническое, религиозное, социальное и т.п.), даже в сумме дающие лишь малую долю идентичности целого. Видимость сырьевого благоденствия позволила какое-то время прожить под одеялом новой мифологии. Но вместе с падающей нефтью перестают греть и мифы. Кризис не позволяет и дальше жить, не приходя в сознание. Теперь, перед лицом потребности в быстром, но глубоком самоизменении,

проработка российской идентичности получает новые, куда более весомые импульсы: вчера это было просто важно – сегодня становится вопросом выживания.



Тема идентичности сразу упирается в проблему включенности гуманитарного в реальную политику и управление, в социально-экономическую практику. Об этом говорят постоянно, но, кажется, зря. Все хором цитируют обрыдшего проф. Преображенского про разруху в головах, но это не мешает безголовым всадникам объезжать социум как неживой. Провал на месте включенного гуманитарного знания зияет в прогнозах и сценариях, в документах стратегического планирования. Это видно по структурам мозговых центров, по аналитике и креативу, по составу проектов и экспертов, по повесткам дня. Лишними украшениями здесь смотрятся категории сознания и психологии, этики и морали, ценностей и норм, архетипов и поведенческих стандартов, уроков истории и образов будущего, самооценки и гуманитарного потенциала. Поползновения бывают, но либо такие, что лучше бы их не было, либо потом не знают, что с этим делать в практической работе, а главное – что делать с тем, что все это только нервирует, мешает и дальше манипулировать экономикой, обществом и страной как безответной материей. А в это время в реальной жизни неучтенное сопротивление человеческого материала буквально по часам рушит одно за другим лучшие начинания.

Это коллизия интеллектуальная, организационная, но и нравственная. Инженеризм проистекает еще и от неуважения и даже откровенного презрения к человеку и людям,

когда «эффективные» меры принимаются, даже если они вопиюще *некрасивы* (в этическом смысле). Результаты бывают, иногда впечатляющие, но потом история жестоко мстит за высокомерие начальства и политическую безвкусицу. Это только вопрос *временных* интервалов в ожидании отложенных эффектов и в оценке правлений. Особенно теперь. Сказано: XXI век будет веком гуманитарного знания – или его не будет вовсе. Это справедливо и в отношении страны. Вплоть до «не будет вовсе». Сегодня можно форсировать режим ручного управления ручной страной, а завтра, в свете «непредвиденных», но запрограммированных обвалов выяснится, что для соответствия вызову времени этой политике (политикам) просто не хватило масштаба, исторического и человеческого.

Далее, важно понять, что гуманитарные измерения присутствуют даже там, где кажется, что их нет⁵. Если общество не работает с самоидентификацией, ценностями, моралью и архетипами, это не значит, что все эти *агенты нормативности*, со своей стороны, не работают с обществом. Работают – но анонимно, спонтанно и минуя сознание. Это место пус-

⁵ Кризис как никогда ярко высветил роль субъективного: интерпретаций и оценок, аналитики, утечек, неосторожных слов и выкриков, прогнозов и проектов, ожиданий и разочарований, доверия и репутации, акционерных неврозов и биржевых психозов, надежды и паники. *Антропология кризиса*. Все это человеческое, слишком человеческое, имеет свои амплитуды и волатильность, конвертируется, измеряется в котировках, курсах, активах, фондах, просто в твердой валюте. Рекомендации Fogex по играм на валютном рынке выглядят как теория работы коллективного сознания. Управлению и стратегическому планированию еще только предстоит освоить то, чем биржевые спекулянты давно пользуются как главным ресурсом.

то не бывает. Даже если оно заполняется сплошным негативом. Либо общество имеет идеологию и работает с ней – либо идеология имеет общество как неререфлективную массу. Даже в самых циничных натурах и социумах есть свои мировоззренческие, ценностные, моральные и поведенческие установки – просто их не замечают, поскольку они работают автоматически, как все «очевидное» и нормативно «безусловное». К тому же антиценности не перестают быть аксиологией, аморальное – антиподом морали, а заблуждения – взглядами. Антиидеологизм – тоже мировоззрение. Это только проблема метаязыка, как в тургеневском Рудине: «Вы уверены в отсутствии у вас каких-либо убеждений? – Да! – Вот вам на первый раз ваше «первое убеждение»!

Это небезнадёжно. Нацеленная рефлексия в состоянии разрушать очевидности, реконструируя их, делая видимыми и понятными. Человеку, группе и обществу, как правило, можно показать (увидят ли – другой вопрос), что ими исподволь руководят стереотипы, которых они просто не замечают, глядя сквозь них, как сквозь мытое стекло. Сюда относятся все грани идентичности. Здесь особенно много предустановок, активно влияющих на политику, решения и социальное поведение. Но очевидность этих клише вовсе не очевидна, и с ними надо сосредоточенно разбираться.

Такого рода критическая рефлексия – дело *философии*, одна из главных задач которой – отслеживать непромысливаемые стандарты, испытывать их на прочность и, если не разрушать, то, как минимум, снимать иллюзии «очевидного». Но такое отношение к миру и жизни востребовано и помимо профессиональной философии, даже с учетом ее

экспансии в позитивное знание (хотя частные науки и текущая аналитика сплошь и рядом страдают именно недостатком рефлексии и гуманитарного самоанализа, этической неразборчивостью и засильем бытовых мировоззренческих штампов – причем даже на самых передовых рубежах). Философия не просто предлагает готовые продукты рефлексии, но и учит этому других, тренирует органы критики, воспитывает естественную настороженность ко всему «очевидному» и предазадному, желание и умение систематически выходить за пределы, установленные здравым смыслом, коммунальным сознанием и даже начальством.

Сейчас, чтобы выйти из гиблой колеи, критичным и рефлексивным, понимающим, в чем-то даже философическим должно становиться *общество*. А этой задаче в приличной, современной стране должны соответствовать *институты*. На рефлексивную критику должна работать *система*, в том числе политическая, административная, информационная. Рефлексивными (или нерефлексивными) могут быть *государственность и социальность*. Если же общество лениво и нетребовательно, а система блокирует результаты рефлексии и критики, работая на рейтинги и слепящую популярность «реальности», курса, власти, лидера, вождя – дело обречено. Слепя других, быстро слепнут сами. Доказано историей. Да оно и так видно.



Критика очевидного имеет здесь еще и методологический смысл. В дискуссии об идентичности, в том числе российской, сложилась традиция – но и набрана инерция. Уже устоялась «карта местности» – любимые места и нахоженные

тропы. Есть круг вопросов, но и *круг ответов*, и кажется, что проблема лишь в том, какие из них правильные. В этот разговор обычно входят, чтобы *занять позицию* – из тех, что уже есть. Часто вовсе без методологического сопровождения.

Если разговор не клеится, надо из него выйти и зайти снова, с другой стороны. Или вовсе с другого горизонта. Так велит стратегия переговорных процессов.

Например, можно раздвинуть (сломать) «рамку» и увидеть проблему модернизации и смены идентичности в габаритах очень большой истории: это сразу существенно меняет представления и оценки. Для этого надо увидеть «до» и «после» нашего вопроса и в полной мере оценить его *историчность*. Проблемы идентичности и модернизации отнюдь не извечны, они именно *возникают*, переоформляются во времени, а сейчас и вовсе меняют базовые параметры.

Смысл модернизации – *приведение к современности*. Физически современным является *все*, что в данный момент синхронно сосуществует. Но понятие современности в современном смысле слова содержит прямо противоположное – актуальное присутствие *несовременного*. Причем не в прошлом, а именно здесь и сейчас. «Современного» в культурном смысле вовсе нет, пока все одинаково современно⁶. Но эпоха Модерна, резко нарастив скорости изменений и позитивно окрасив само движение (идея Прогресса), породила негативно окрашенные *отставания*: «современное» возникло в культуре именно – и только! – как антипод появившегося и значимого *устаревшего*. На повышенных ско-

⁶ В данном случае слишком напрашивается ставшее пошлым сравнение с воздухом, которого не замечаешь, пока его хватает.

ростях время расслоилось: в настоящем одновременно обнаружилось прошлое и будущее. Когда-то такого не было. И до сих пор есть далеко не везде⁷.

Устремленность вперед порождает пафос преобразований, а с ним – и культ *Проекта*. Осмысленное движение, собственно, и есть процесс реализации той или иной проектной разработки – воплощения *себя другого*. Модерн в этом смысле – не что иное, как эпоха Проекта. Точно также как постмодерн основан прежде всего на критике тотальной или хотя бы избыточной проектности (что хорошо видно в теле архитектуры, где постмодерн прежде всего и зародился – в качестве настроения, переоценки ценности, зачатков мирочувствия и мировоззрения, концепции и художественного воплощения)⁸.

⁷ Когда «золотой век» увидели позади (античность для Ренессанса), средневековое уже было *отсталым* этого нового возрождения. Когда же «золотой век» переместили в будущее, позитивный смысл модернизации стал и вовсе безусловным. Соответственно, расслаивается и социум: в нем, наряду с нормальными людьми, появляются консерваторы и реликты (люди прошлого), а также прогрессисты и новаторы (люди будущего). Здесь современность даже втягивается в будущее: если ты не беспокойный новатор, то ты уже и не вполне современен.

⁸ Определение модерна (modernity) через другие основания, прежде всего через утверждение гражданских прав и свобод (Ю. Хабермас), кажется, все же уступает пониманию этого времени через мощную экспансию проектного начала. Во-первых, в это время происходит не менее интенсивное наращивание и других столь же важных цивилизационных тенденций, в частности в науке и технике, в инновациях, в организации производств и в самой жизни, во всех ее проявлениях. (Что здесь первично – свобода как обеспечение такого способа существования или этот новый способ существования как материнское лоно свободы – вопрос «курицы и яйца»). Во-вторых, всякое *пост-* неизменно несет в себе элемент отрицания предшествующего, энергию отталкивания. Постмодерн идей права и свободы не отрицает, даже не бросает на них и тени сомнения, а то и

Общества, не выпадающие из нормального темпа мировой истории, еще сохраняют приемлемый баланс между проектностью и искусственным конструированием, с одной стороны, и спонтанным, естественным саморазвитием – с другой. Но рывки *догоняющей модернизации* – это, как правило, уже почти чистый Проект, со всеми вытекающими. Хотя бы потому, что живым проектом для тебя становится тот, кого ты догоняешь, а всякие рывки вдогонку неизбежно приобретают форму реализации Большого Плана. Россия не раз испытывала на себе такого рода плановые и сверхплановые реконструкции – и теперь вновь оказывается перед искушением новым мегапроектом.

Однако Модерн тоже не вечен. Как и все однажды возникшее, он исчерпывает себя в истории, причем именно в

вовсе утрирует их небывалой отвязанностью и беспедальностью. Постмодерн же, понимаемый как выход из неумной проектной экспансии модерна, совершенно логично вписывается в новейшую критику инженеризма, профетизма, порядка, планомерности, заорганизованности и безответственного эксперимента на сознательном и живом. В-третьих, заход через проект и кошмары *макетирования в натуральную величину* позволяет согласовать эту проблему со сложной, многоуровневой *исторической размерностью* постмодерна. Строго говоря, постмодерн в разных своих ипостасях и интерпретациях, при использовании разных оптик исторического зрения, выступает одновременно: и как выпад против перхлестов «Современного Движения» первой половины XX века, и как критика проектности всякого революционаризма, и как отрицание просветительского профетизма, беззастенчиво навязывающего проект человека, общества и мира себе и другому (примерно с середины XVIII века), и как критическое переосмысление преобразовательного пафоса всего Нового времени и т.д., вплоть до пересмотра самих основ техногенной цивилизации с ее культом проектно-преобразующего начала (здесь античное «техне» как раз и выступает не как «техника» в современном и узком смысле слова, а как всякое искусство – в самом широком толковании этого понятия, т.е. как *искусственное*).

идеологии тотального проектирования, величественной и трагичной эпохой *мегапроектов* – технологических, природопреобразующих и урбанистических, дизайнерских и архитектурно-планировочных, социотехнических и жизнеустроительных, макрокультурных и цивилизационных. Это надо было пройти, чтобы почувствовать и понять: *человек не может жить в реализованных в натуральную величину макетах*, какими бы красивыми и правильными они ни были, будь то идеальный город, идеальное общество или идеальный мир. Открывая радужные горизонты и новые поля возможностей, обеспечивая небывалые (но всегда временные) прорывы, такие сверхпроекты с удручающей регулярностью заводят в исторические тупики и заканчиваются катастрофами – политическими, социальными, культурными, экологическими. В итоге в XX веке на пике цивилизации торжествующей проектности столкнулись два тоталитарных колосса, человечество познало все ужасы социальной инженерии, а среда оказалась на грани необратимой деградации. Мир бросился спасать *природу* – биологическую, социальную, просто человеческую. Техногенная цивилизация от рабочей самокритики перешла к пересмотру собственных оснований. И прежде всего – к *радикальной переоценке самого проектно-преобразовательного пафоса*.

Это модернизирует подходы к модернизации и заново идентифицирует идентичность. Бессмысленно пытаться привести к современности страну несовременными методами и навязать ей идентичность в формате, каких уже нет и не будет.



Особенно опасны сверхпроекты для наций с чрезмерно пафосной и сентиментальной идентичностью. Они раскачивают худшее в национальных характерах: вождизм и подобострашие, гордыню и жестокость, горячность и неумеренность. Но одновременно они же подавляют и насилуют правильное в этих характерах. Есть нации, которым без сверхпроектов плохо, но которым сверхпроекты явно противопоказаны. Здесь особо велики цена ошибок и риск злоупотреблений. Это про нас.

Страна попала в историческую ловушку. Без нового большого проекта она не может выдернуть себя из колеи сырьевой экономики, преодолеть инерцию и совершить последний бросок догоняющей модернизации. Но именно эта страна трагически и более других (возможно, в назидание другим) пострадала от нездоровых увлечений проектами переустройства себя, мира и человека. Более того, Россия вынуждена входить в мегапроект в эпоху, когда такого рода предприятия уже давно воспринимаются как *опасные анахронизмы*.

Значит, нужны *другая модель модернизации и другой формат проекта*.

То же с идентичностью. Эта тема *возникла*, причем опять же именно в связи ускоренными изменениями, с расширением их фронта, ростом их культурной значимости. Во всемирном потоке обновления и обмена все идентичность теряют – и все ее дружно, громко ищут.

Однако и эта история имеет свое продолжение. Отношение к идентичности как к безусловной, безоговорочной

ценности становится все менее однозначным. Уже особо подвижный Модерн с его культом изменений вывел на более сложные игры с идентичностью, которая, как оказалось, может и сковывать. И сейчас в радениях по утраченной «исконно российской» идентичности сплошь и рядом забредают не куда-нибудь, а именно в реакцию, сначала культурную, потом политическую.

Постмодерн и вовсе завершил десакрализацию идентичности. Коллаж – главный формат постмодерна – это уже пародия на идентичность, тем более, если он набран цитатами из *руинированных* текстов, которые в этом плане и сами перестают быть семантически идентичными. Но этот формат в постсовременности⁹ распространяется не только в архитектуре, литературе или музыке, и даже не только в повседневных практиках. Он становится форматом повседневной культуры, политики, экономики, социальности, самой цивилизации. Сейчас уповать на восстановление идентичности хотя бы в духе прошлого века уже, как минимум, несовременно. Идентичность меняется не только в конкретных содержаниях, но и *в отношении к самой себе* (а это отношение, в свою очередь, – тоже один из моментов идентификации настоящего).

⁹ Постсовременность как состояние, как «место в истории», следует отличать от постмодерна (постмодернизма) как философии, идеологии и стиля (в английском: postmodernity – в отличие от postmodern). Это то *постсовременное*, что уже и само существует в жизни и культуре независимо от нашей рефлексии, от проектных и даже антипроектных установок, тем более от совокупности приемов в искусстве и интеллектуальном творчестве.

Далее, системная работа с идентичностью требует восстановления полноты и целостности как в субъекте-носителе идентичности, так и в выстраивании всего *проблемного поля*. Идентичность – это *про что*? Про этносы и веры, про личностную и социальную самокатегоризацию – или это про *все* данного субъекта, будь то индивид, страна или человечество? Включая политику, экономику, государственность, право, администрирование, моду, секс, еду, больницу, науку, школу, тюрьму. А если «про все», то какие поля здесь пропущены и чего в уже начатой работе с идентичностью сейчас особенно не хватает? И как это «*наше все*» можно оконтурить, внутри себя связать и организовать? Как ухватить жизнь этого целого в его единстве и взаимовлияниях? Последнее особенно важно, если учесть, что главной проблемой становится уже не то, какие именно у нас идентичности, а как они между собой соотносятся и взаимодействуют: в чем конфликтуют, а в чем, наоборот, срастаются, образуют опасные самораскачивающиеся контуры с очень положительными обратными связями. Это проблема не отдельных «комнат» идентичности, но ее общежития.

Наконец, знание идентичности еще только предстоит ввести в злободневный обиход. Недостаточная востребованность гуманитарного на совести не только руководящих инстанций, но и самого интеллектуального продукта, плохо адаптированного к внедрению в живую политику. Пока идентичностью чаще занимаются в отдельных более или менее академических резервациях. Но орнитологи не летают. Иногда ее занимаются в очень конфликтных или конъюнктурных точках (например, этно-национальные кон-

фликты или предвыборные кампании). Чаще с тяжелыми инерциями идентичности соприкасаются уже потом, когда они ломают в реализации самые амбициозные и технологически выверенные программы, когда не так понятый нрав страны и культуры на длинных дистанциях осаживает характеры самых крутых, но, увы, *неисторических* деятелей.

Это относится не только к большой истории, но и к микроуровням политики и управления: от аляповатостей пиара власти до технократических и очень негуманитарных начинаний в инновациях, хайтеке, в борьбе с административным давлением, коррупцией и т.п.

Проблему, таким образом, надо «во весь рост» выстроить по вертикали: одновременно и «задрать» ее до адекватного масштаба глобальности и историзма – но и опустить в малое, в политическую текучку и экономическую рутину, привязать к повседневным микропроектам и микромодернизациям, которые пока кажутся слишком техническими, чтобы к ним подходить с такими гуманитарными изысками, как идентичность.

Возможно, это одна из последних, но главных проблем нашего характера – при всех планетарных и исторических замахх воспитать в себе уважение к рутине и мелочам, в которых известно, кто и как прячется. Особенно в России.

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОСТСОВРЕМЕННОМ МИРЕ. АТАКА НА САМОСТЬ

В обычном смысле и в формальной логике *идентичность* – это тождественность предмета чему-либо или самому себе, в пространстве сопоставлений или во времени. В философских же и гуманитарных, в том числе социологических, политологических, культурологических и т.п. смыслах понятие идентичности обычно выводит на проблему самоидентификации *человека*. Иначе говоря, в философии и гуманитарной сфере это прежде всего проблема переживания и рефлексии, самопонимания, самоосознания себя как целостной личности в себе и в разных контекстах, отнесения себя к тем или иным культурам, общностям и движениям, системам ценностей, идей и представлений. При этом такой ищущей свою идентичность «личностью» может выступать не только индивидуальный субъект, но и общность (любого уровня и типа), страна, союз, культура, цивилизация, наконец, человек как таковой и само человечество.

В этом (и только в этом) смысле проблема идентичности фундаментальна и «вечна». Человек начинается с самосознания, а оно, в свою очередь, начинается, во-первых, с осмысления (и переживания) своей самотождественности, а во-вторых, с *отличения себя от...* и *причисления себя к...*¹⁰ Об этом можно рассуждать много и долго, хотя скорее все-

¹⁰ При этом в реальной практике самосознания, по сути, воспроизводится связка принятых в теории *идиографического* и *номотетического* методов идентификации, то есть осмысления себя как индивидуальной целостности и отнесения себя к тем или иным общностям.

го в основном в рамках известного. Проблема идентичности человека в самых разных ее аспектах пронизывает буквально всю историю философии. На проблему идентичности издавна завязаны не только академические и, казалось бы, умозрительные проблемы теории сознания, философии личности, формальной логики, общей психологии и т.п., но и вполне практические вопросы памяти и ответственности, правосудия и морали, идеологии и воспитания, всего многообразия самокатегоризации.

И все же в целом ряде отношений эта проблема достаточно новая, а если иметь в виду ее самостоятельную теоретичность и обостренную актуальность, то с известными оговорками можно утверждать, что эта проблема – одна из новейших, относимых к тому, что мы называем «современностью». А то и «постсовременностью». Человек (если иметь в виду духовную и интеллектуальную практику вне собственно философской рефлексии) до недавнего времени в большей степени решал для себя самые разнообразные проблемы идентичности, но не проблему идентичности как таковую. Он делал тот или иной выбор в понимании себя в мире и социуме, в культуре и истории, даже задумывался над природой этого выбора, но не над его внутренней структурой и динамикой изменений. В проблеме долго был слабо выражен, а то и почти отсутствовал метауровень. Полноценно самостоятельным предметом идентичность стала после того, как современность стала испытывать ее буквально на разрыв.

Ограниченность рефлексии и метауровня естественна, пока комплекс человеческих идентичностей сохраняет из-

вестную целостность; пока культура, знание, вера не вступают в избыточные противоречия – такие, что не позволяют сделать выбор идентичности «одним движением» и в «одном теле»; пока идентичности личности, группы, массовидных сборок, социума, этноса, нации, цивилизации в каждой из ситуаций выбора могут быть и, как правило, являются достаточно собранными и гармонизированными. Пока проблемой является прежде всего выбор той или иной достаточно целостной идентичности из спектра возможных, человек делает этот выбор, легко или мучительно, но все же оставаясь внутри ситуации, не промышляя ее как таковую, «со стороны». Когда же критичными становятся разрывы и противоречия в самоидентификациях (или, иначе говоря, внутри общей самоидентификации), возникает острая потребность в осмыслении самой ситуации выбора и достижения единства, то есть в теории собственно идентичности, в описании ее внутреннего многообразия и анализе этой сложной структуры, в осмыслении крупных, порой фундаментальных исторических изменений буквально во всем, что связано с идентичностью. Тогда самоидентификация становится не столько выбором внятного пути (из веера возможных), сколько блужданием в *лабиринте идентичностей*, попыткой выбраться из постоянно возникающих тупиков. И тогда естественно заостряется вопрос, как и почему это случилось с человеком и в истории. Идентичность становится отдельной проблемой и самостоятельным предметом. Ниже мы подробнее остановимся на причинах этого явления. Здесь же достаточно напомнить такие обстоятельства, как нарастающие скорости изменений и

склеивание разноскоростных процессов при такой же разноскоростной и неодинаково эффективной к ним адаптации; усиливающиеся атаки на субъекта (от личностей и общностей до этносов и целых культур) со стороны новейших средств массовой информации и воздействия на сознание; новая мобильность и спонтанное перемешивание повседневных практик; лавинообразное нарастание процессов межстранового обмена и глобализации в самых разных ее проявлениях – культурных и цивилизационных, информационных, демографических, политических, экономических, образовательных и т.д. и т.п. Уже эпоха модерна радикально изменила культурные и социальные обстановки всего, что связано с идентичностью. Идентичность человека, человеческих общностей и их производных на всех социальных и культурных уровнях в этом новом мире буквально бомбардируется, берется на разрыв, испытывается на прочность. И все чаще оказывается, что этой прочности не хватает для сопротивления.

Более того, поскольку идентичность и в понятии, и в самоощущении предполагает самоидентичность, разрывы и противоречия в различных идентификациях перерастают в утрату идентичности как таковой. Несоответствие отдельных идентификаций друг другу, отсутствие целостности и единства переживается как отсутствие идентичности *вообще*. В какой-то момент такая утрата становится уже не метафорой, а остро переживаемой реальностью самосознания – человека, группы, этноса, государства и страны, культуры и цивилизации... Чтобы специально заняться идентичностью, ее надо было сначала потерять и, более то-

го, заметить эту потерю. Что и происходит. Современной эту проблему делает именно кризис идентичности, по некоторым оценкам (С. Хантингтон) – уже глобальный.

В этих модных разговорах немало преувеличений, одновременно и житейских, и теоретических. Строго говоря, абсолютной идентичности нет даже в самых целостных личностях, общностях и культурах – это не более чем предельная идеализация. Внутренние напряжения идентификации в той или иной мере были и есть всегда и везде, являясь одновременно и проблемой, и источником движения, саморазвития: стопроцентная идентичность означает остановку, она доступна лишь святым и мертвым – и то с вопросами. Прорывы начинаются с утраты идентичности и обретения новой. *Волатильность* идентичности (спасибо финансовому кризису за слово) является условием движения. При ближайшем рассмотрении даже в самых благополучных ситуациях прошлого целостность идентификации имеет напряжения и зазоры, если не разрывы. И наоборот, в наиболее фрагментированных и противоречивых сборках современности на проверку часто оказывается куда больше внутренней логики и связности, чем кажется на первый взгляд.

И, тем не менее, сравнивая композиции идентичности на длинных исторических дистанциях, нельзя не увидеть в этой большой истории кардинальных изменений, направленных в сторону децентрации и фрагментации, мозаичности и коллажности, внутренней несвязности и противоречивости. Это уже принципиально иные этика и эстетика компоновок, становящихся приемлемыми и доминирующими. Количество изменений перешло в новое качество.

Здесь, особенно в начале анализа, полезно отойти от чрезмерно эмоциональных и однозначно негативных оценок этого перехода в новое состояние. С одной стороны, в современном мире именно *человек*, его качества и возможности, его сила и слабости, перспективы и потери становятся все более значимыми. Во главу угла все более выдвигается то, что уже слишком надоедливо называют человеческим фактором; причем не случайно это словосочетание особенно часто звучит в выводах комиссий по авариям и катастрофам. Вместе с тем, сравнение гармоничных культур прошлого с современными (точнее, постсовременными) эклектическими сборками, противопоставление индивида как целостной личности децентрированным, фрагментированным и внутренне разорванным современным «*дивидам*» (Ж. Лакан) по-своему понятно и оправданно, но вызывает подозрения в обычной инерционности. Вероятно, правильнее принять это как факт, как сложившуюся тенденцию, которая может быть некомфортной в восприятии и осмыслении, но по-своему прагматичной и даже продуктивной – несмотря на все очевидные утраты в сравнении с прежним целостным состоянием. Возможно, радетели былой гармонии торопятся, выхватывая в постструктурализме идею «смерти субъекта», объявлять всемирной трагедией то, что может оказаться рождением новой, другой субъектности, торжеством иных, в том числе бессубъектных, практик.



Чтобы проще справиться с этой переоценкой, полезно попытаться увидеть аналогичные проблемы не только в индивидуальных или коллективных самоидентификациях, но

и в других сферах культуры, знания, практики. Если бы расшатывалась строгая идентичность только лишь несчастных индивидов и их нелепых общностей, проще было бы озадачиться очередной драмой, если не трагедией вновь – и уже в который раз! – безнадежно «деградирующего» человечества. Когда же сходные тенденции обнаруживаются в экономике и политике, в социальных идентификациях, в повседневных практиках и гендерных отношениях, в познании и технике, в культуре и художественной жизни, даже в философской рефлексии, отношение к таким трендам становится более терпимым. И тогда оказывается, что хронически драматизируемая утрата идентичности в целом ряде ситуаций может оборачиваться освобождением от чрезмерно жестких, сковывающих привязок, своего рода защитной реакцией, а то и вовсе атрибутом скорости, условием поддержания темпа. Проблема остается, но, как минимум, перестает быть однозначной.

Так, в терминах идентичности можно описать известную ситуацию перехода от классической науки к неклассической. *Классическая* картина мира предполагает строгую идентичность теории, то есть ее единство и единственность, тождественность базовых посылок в отношении следствий и фактов, выводов и эксперимента, а также во времени. *Неклассическая* наука допускает не только фундаментальные пересмотры, но и одновременно действующие параллельные концепции, причем именно альтернативные, взаимоисключающие. Кроме того, обнаружение даже очень жестких контрфактов не рушит теорию в одночасье, но оболакивает ее защитным поясом допущений *ad hoc*, позволяющим до-

жить до очередной научной революции. В этом смысле идентичность теории становится более эластичной, как в самом познании, так и в метанауке, в методологии познания, в эпистемологии. Что же касается *постнеклассической* науки, то ее вынужденный диалог с обществом (который впредь ведется не с позиций священной коровы, но в ситуации относительного равноправия) создает новые пространства интеллектуальной работы, связанные с развитием знания, а с ними и новые проблемы идентичности в науке, в чем-то сходные с «вилкой» между собственно производством, с одной стороны, и маркетингом, рекламой, пиаром и т.п. – с другой. Чтобы научиться говорить и взаимодействовать с обществом в этой новой ситуации и в новой системе взаимоотношений, науке приходится пересматривать свою гуманитарную и цивилизационную идентичность, учиться ее преподносить адекватно и эффективно, а то и эффектно. Что почти само собой и вполне органично получилось у наук биомедицинского цикла, «полезность» которых пока понятна на бытовом уровне (при всей остроте биоэтических проблем), но труднее осваивается, скажем, ядерной физикой (пример ЦЕРНа, у которого проблемы не только с коллапсом, но уже и с обоснованиями разумности всей этой гигантской мировой складчины).

Художественная культура, практическая и теоретическая эстетика в этом отношении переживают не менее радикальные изменения. На глазах нашего поколения ушло время Больших Стилей. Современный (точнее, постсовременный) человек живет в среде фрагментированных и коллажированных эстетических сборок, склеивающих цитаты

из руинированных текстов (которые в таких контекстах, как уже отмечалось, тоже теряют свою исходную идентичность). Чтобы оценить этот перелом, достаточно позволить себе мысленную экскурсию по музею пространственно-предметной среды прошлого и настоящего. «Дом» прошлого стилистически увязан, если не однозначен. Это среда, выполненная «одной рукой». Среда постсовременного человека собрана враспырку. Диссонансы начинаются с одежды и того, что в карманах (мы эти диссонансы, как правило, не замечаем, но только потому, что привыкли). Уже квартира, индивидуальный дом предлагают новый порог несоблюдения стилевого единства (хотя бы в силу количества предметов). Начинается все с «фонаря» и «аптеки», а далее идет по нарастающей: двор, улица, поселение, город, страна, страны, регионы... (особенно если учитывать не просто архитектурный остов, но и все наполнение, падающее на восприятие). Вытертые джинсы и изысканные галстуки, бытовая и оргтехника, старые и новые автомобили, посуда и мебель всех времен и народов, постройки и городской дизайн, реклама (в среде и в телевизоре), города и даже культурные ландшафты – все это уже давно перестало быть единым «произведением» (неважно – автора или целостной культуры) и превратилось в постоянно действующую экспозицию во всемирном музее истории и этнографии, внутри которого мы живем и в котором перемещаемся с немислимыми для прошлого скоростями, частотами и амплитудами. Более того, само произведение также резко снижает заботу о своей идентичности (постмодерн, серийное искусство, мобильные схемы и трансфор-

меры, событийные акты, допущения импровизированных интерпретаций в духе Штокгаузена или Бютора и т.п.). Резко нарастает свобода вариаций, иногда приближающаяся к санкционированному произволу. В том же направлении сдвигается теоретическая эстетика (как «интеллект» художественной практики). Если раньше это была прежде всего философия и теория идеальной художественной идентичности, делавшей произведение-шедевр одновременно святым и покойником (художественная «икона»), то теперь это все чаще искания в области нетождественного и изменяемого, неединого, нецелостного и дисгармоничного, спонтанного и внехудожественного. При этом имеет место не только осмысление факта разрушения единства среды, а отчасти и произведения, но и *эстетизация* этого нового состояния, обнаружение в видимом хаосе более сложных (и часто более интересных!) – форм порядка.

Как и почему это случилось – об этом ниже и отдельно. Здесь же достаточно сказать, что все это стало естественной реакцией именно на попытку формирования тотальной художественно-эстетической среды, замыкающей человека в себе и, по сути, погружающей его внутрь гигантского произведения (что равносильно тому, чтобы заковать человека в наушники, передающие исключительно музыку, к тому же хорошо организованную). Во всяком случае, именно к этому шли все пионеры Современного Движения: «от дверной ручки до планировки города» (Корбю), «от кофейной чашки до системы расселения» (Гропиус) и т.п. И к этому в какой-то момент слишком приблизилась современная практика средообразования.

В результате возникла принципиально новая эстетическая ситуация в плане взаимоотношений произведения и среды, в самой генетике эстетических вкусов того или иного времени. До XX века художественная культура и господствующие эстетические предпочтения развивались циклами, точно в соответствии с так называемым *маятником Вёльфлина*: от жесткой упорядоченности и регулярности к большей органичности и естественности – и наоборот. Только для примера и очень грубо: античный порядок – хаос средневековья – новая гармония Возрождения. Далее то же, но с уплотнением времени: барокко и рококо – классицизм и ампир – эклектика и псевдостили – функционализм и конструктивизм... Однако в XX веке этот «маятник» качнулся так, что, по сути, оборвал собственную подвеску. Функционализм и конструктивизм совпали по времени с идеями и практикой тотальной архитектуры и дизайна – и проблема сразу вышла за рамки эстетики произведения. В тотальной среде жить плохо не потому, что она выполнена в духе функционалистского минимализма и чрезмерно суха. Тотальное произведение среды было бы не менее, если не более ужасным, если бы оно было выполнено как единый художественный акт и в куда менее регулярной эстетике, например, в барокко или эклектике, в немецком экспрессионизме или душевно разляпистом псевдорусском стиле. Это уже не проблема выбора той или иной эстетической тональности произведения – это проблема приемлемых *границ искусства*, самой художественно-проектной экспансии. Здесь художественная идентичность целого практически полностью вытесняет и подавляет идентич-

ность индивидуального, которое в реальной жизни во всем этом великолепии самым банальным образом *живет*. Человек может полностью, самоотреченно идентифицировать себя с музыкальным или живописным произведением – но только потому что это ненадолго и только в контексте (проще – на фоне) художественно неорганизованной эстетической среды – звуковой, цветовой и т.п. Но из архитектуры нельзя выйти, как из «рамки» картины и из музея, из сонаты или из концертного зала. Здесь надо менять уже не стилистику художественного, а сами принципы его включенности во внехудожественное, не эстетику и меру упорядоченности среды, а саму *онтологию средообразования*.

Забегая вперед, можно заметить, что такая же переоценка ценностей (и ровно в той же логике и по тем же причинам) произошла и в экологическом сознании, в отношении к проектам социальной инженерии, в представлениях о границах регулирования экономики и т.п. Сейчас трудно поверить, что еще где-то около середины прошлого века поэтический образ Земли в духе Уитмена, сплошь заасфальтированной и окутанной сетью электрических проводов, мог вызывать энтузиазм, а не оторопь, даже не сомнение. Равно как и смыслообразы правильно спроектированного общества, нацело запланированной экономики, познанной и технично усовершенствованной природы. Все это надо было попробовать – и всем этим надо было захлебнуться...

То же происходит на уровне обыденных практик и *структур повседневности*, значение которых в идентификации культур, эпох и больших процессов со времен Броделя и Школы Анналов неизмеримо возросло. Системы пи-

тания радикально коллажируются. Русская кухня перестает быть тем, что едят русские, а французская – едой французов. Предпочтения остаются, но в открытой возможности все едят все. И пьют. То же происходит в одежде; в моде перемешиваются и размываются национальные, а отчасти и половые различия. Гендерные различия стираются в социальных ролях и еще кое в чем, например, в сексе. Постепенно размываются системы национальной медицины, впитывающей самые разнообразные, порой плохо совместимые лечебные практики. Переплетаются ветви образовательных систем, как в технологиях обучения, так и в содержании, не говоря уже о нарастающем обмене курсами, преподавателями и учащимися. Информационное пространство становится всеядным, а Интернет своей тотальной доступностью и безграничной представленностью содержаний и вовсе уравнивает потенциал идентичности пользователей, делает его открытым практически без ограничений. Здесь можно было бы обойтись термином «глобализация» – если бы не оскомина от этого слова и необходимость еще раз подчеркнуть, в какой мере этот процесс является тотальным и как он меняет идентичность практически всех околочеловеческих обстановок.

Человек это его мир, а мир современного человека в плане идентичности становится на порядок более сложным, запутанным, раскрытым, податливым и изменчивым. Такие суждения уже стали банальными, но в тоске по идентичности еще остается естественная потребность этот мир все же более или менее понятно собрать и структурировать.

КОНТУРЫ ИДЕНТИЧНОСТИ. СБОРКА

Когда-то в интеллектуальном упорядочении реальности ключевую роль играла философия. Она достраивала научную картину мира до требуемой полноты, выходя за рамки непознанного и позитивно не познаваемого. И она собирала жизненный мир. Это тоже был поиск идентичности – человека и мира, космоса и истории. На такую всеобщую идентичность претендовала каждая из философских Систем. Системосозидание, по сути, и есть претензия на законченность в плане полноты охвата и синтеза, глубины проникновения и завершенности познавательного процесса: философская Система если и допускает свое развитие (Школа), но все же не отрицание, не пересмотр. Соответственно, принимая ту или иную философию (ее житейские адаптации), общность приобретала ту или иную конкретную, более или менее целостную мировоззренческую идентичность, в которой все увязано и взаимообусловлено.

В нынешнем мире и эта идентичность подвергается эрозии, если вообще остается. Претензии на тотальность сильно у скромнились; философы все чаще предпочитают философствовать на отдельных, своих предметностях. Уже в силу этого идентичность целого оказывается под вопросом. Сохраняющиеся претензии на Истину не отменяют существенно иного видения места каждой из концепций в общем потоке философствования. Более того, теперь в этом потоке каждая из концепций осознает не только свое место, но и свое *время*. Исчезает типичное для системосозидания «на-конец-то!». Если Аристотель и Декарт, Кант и Гегель, даже

Маркс, могли считать, что они «сделали дело», то уже с предыдущего века философы все более склоняются к модели «участия в деле» и к твердой уверенности, что за тобой все равно будут переделывать. То же происходит и в философической жизни, в общественной «утилизации» философии. Теперь оказывается, что общности могут менять философии на протяжении жизни одного поколения, даже неоднократно¹¹.

При этом границы ареалов исповедуемых философий все более утрачивают прямые совпадения с границами социальными, этно-национальными, тем более государствен-

¹¹ В этом плане идентичность философии всегда была сложной, двойственной. С точки зрения моделей «прогресса» (направленного движения в истории) философия в классические эпохи всегда занимала промежуточное положение между искусством, производившим в качестве моделей идеальных продуктов человеческой деятельности вечно совершенные, непревосходимые шедевры («поверх» которых ничто не надстраивалось, внутри которых ничто не критиковалось и ценность которых со временем лишь возрастала) и наукой, которая, как правило, надстраивалась над предыдущими концепциями, пыталась включить их в новые теории как частный случай, работала на своего рода отрицании-поглощении и строилась на критике предшественников. Философия в этом плане демонстрирует интересный синтез, в котором включенность философского «произведения» в историю философии не столь линейная, как в науке (при всех оговорках по части научной «линейности»), и не столь дискретная, как в искусстве (при всех оговорках по части «дискретности» художественного развития, точнее художественного процесса, поскольку о развитии в собственном смысле слова в отношении искусства говорить проблематично). Гегель соотносится с Платоном или Хабермас с Кантом не так, как Эйнштейн с Ньютоном, но и не так, как Роден с Праксителем или Рахманинов с Бахом. Хотя в постсовременной культуре и эти различия в моделях развития все более стираются, сближая искусство, науку и философию в новой идентичности их произведений в отношении их историй. Происходит своего рода конвергенция моделей исторического движения искусства, науки и философии – того, что в советской философии называлось «формами общественного сознания». В этом отношении «неклассическое» в философии, науке и искусстве становится все более похожим. А жаль.

ными и даже политическими. Храм мировоззрения превращается во всемирный философский «базар» (в хорошем, восточном смысле этого яркого слова). Торгующих здесь никто не изгоняет. И на этом «базаре» вовсе не обязательно приобретать какую-то одну вещь; выбор не ограничен ни по числу, ни по направленности. Теперь обывателю, а часто и исследователю, можно быть адептом одновременно разных, порой плохо совместимых философий. Более того, идентичности индивидов и общностей почти утрачивают сколько-нибудь определенные привязки к определенным философиям, которые в этом плане перестают быть идеологиями. В этом смысле понятны сентенции о «смерти философии»: никто не может отнять право философствовать, но и никто впредь не может заставить исповедовать ту или иную философию, навязать ее. И сама философия все менее что-либо навязывает. «Умирает» *философия в прежнем смысле слова*; есть подозрение, что она (точнее, ее производные) больше не подвигает (почти не подвигает) общности на исторические деяния, реформации и революции, походы и войны. Как и религии (если не думать, что международный терроризм в основе своей вызван именно фундаментализмом, а не более земными соображениями). Достойной для философии утверждается миссия «смазывания поверхностей» (Р. Рорти) – между культурами и цивилизациями, между человеком и социумом, государством и обществом, знанием и практикой. Это принципиально иная идентичность философии – но и принципиально иная идентичность общества, живущего с такой философией (такими философиями).

При этом многие значимые для идентичности человека и общностей вопросы не исчезают из поля зрения, но спускаются на уровень частной науки либо в теории среднего уровня, в метанауку. Однако здесь идентичность целого снова разбирается на отдельные составляющие, почти независимо друг от друга изучаемые этнографами, культурологами, конфликтологами, социологами, социальными и экономическими психологами, генетиками, даже трансплантаторами и реаниматологами... Собирать это знание, следить за интегральной идентичностью этого постоянно пополняемого и изменчивого целого – отдельная задача. Тем более, что многие наиболее животрепещущие жизненные проблемы обусловлены как раз не той или иной идентичностью самой по себе, а именно конфликтами между этими идентичностями или, наоборот, их неучитываемым резонансным взаимоусилением.

Далее мы попытаемся хотя бы в самом общем виде очертить абрис и внутреннюю структуру этого бесконечно богатого и сложного континуума взаимосвязанных идентичностей. Точнее, речь здесь пойдет даже не о самой структуре этого поля, а скорее о подходах к ее представлению. Задача здесь – не столько выстроить новую конструкцию во всей ее полноте и устойчивости, сколько сломать ограничители старой конструкции, ее методологические и мировоззренческие стереотипы.

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК АНКЕТА. ВОПРОСЫ

Обнаружение идентичности – человека, общности и т.д. – предполагает ответы на вопросы, а значит – своего рода анкетирование и самоанкетирование. Как в каждом опросе, его результат зависит не только от качества ответов, но и от качества вопросов. Поэтому прежде чем штамповать ответы, полезно озадачиться метапроблемой: *умеем ли мы себя спрашивать?*

Поиск идентичности предполагает ответ на вопрос столь же классический, сколь и животрепещущий: «Кто мы?». Однако уже на следующем шаге здесь возникают непростые проблемы, с одной стороны, теоретического и методологического характера, а с другой – культурного, идеологического, политического, социального и т.п. свойства. Собственно, кто это – «Мы?». Какого рода общность (общности) при этом подразумевается (подразумеваются)? И каким образом при этом учитываются (и учитываются ли вообще) сложнейшие внутрикультурные, социальные, этнические и пр. дифференциации? В особенности – частные, индивидуальные выпадения из «общей идентичности».

Это особенно актуально для таких мультикультурных и социально противоречивых стран, как Россия. В самой манере говорить от имени единого и нерасчлененного целого, от замятинского «Мы», «за Россию вообще», есть нечто опасное, если не заведомо порочное – и методологически, и морально, и политически. В столь разнородном и внутренне противоречивом, порой просто расколотом обществе, как у нас, тотальные идентификации всегда дискриминационны.

Они выбрасывают из национальной идентичности целые категории граждан, не подпадающих под те или иные определения и характеристики, или, как минимум, принижают их. Это бывает весьма грубо, когда обобщающие идентификации используются, по сути, для возвышения одних категорий граждан и дискриминации других, когда под вывеской, например, патриотизма продаются национализм и самообожание, приправленное мизантропией. Но взрывоопасность темы идентичности в том, что и безобидное, казалось бы, вполне прогрессивное и либеральное философствование может оборачиваться идеологическими, а там и нравственными, даже организационными дисбалансами.

Эта проблема нередко просвечивает в самых интеллигентных опытах захода на российскую идентичность. В конце 1990-х, когда впервые за долгое время в России вновь стали выговаривать слова о «национальной идее», эта тема была заявлена на одном из телевизионных клубов. Среди заранее отснятых сюжетов была сценка, в которой Г. Гачев во дворе своего деревенского дома пил водку с соседом из местных едва ли не в снегу под душеспасительные беседы, что и пропагандировалось культурологом в качестве специфически российской характерности. Тогда Э. Соловьев, правда, уже после записи передачи, заметил, что хорошо знает эту деревню и ее жителей, и в том числе – другого гачевского соседа, который водку среди дня не пьет и без закуски не философствует, поскольку весь в работе, отстроился, уже прикупил трактор и т.д. Этот вроде бы проходной эпизод наводит на мысли о том, насколько принципиальными могут быть различия в подходах к ха-

рактеристикам идентичности, и как опасны упрощающие генерализации, куда может заводить невнимание к этим различиям, пусть даже вследствие чисто вкусовых, житейских предпочтений. Хотя бы потому, что даже в нынешней, казалось бы, насквозь рыночной России у пьющих, досууже рассуждающих и поучающих проблем все же меньше, чем у тех, кто пытается работать, заводить дело и, тем самым, кормить пьющих, руководящих, регулирующих и контролирующих. Стенания о духовности всегда были особенно в чести у люмпенов, чиновников и прочих носителей паразитарных, иждивенческих стратегий.

Здесь же хорошо видны две принципиально разные возможности разговора об идентичности. В одном случае выделяется та или иная характеристика, принимаемая в качестве характерной и доминирующей; в другом случае в целое включаются альтернативы и идентичность ищется не как отдельный акцент, а как *композиция разного*. После того, как в Илье Ильиче перестали видеть некомсомольскую «обломовщину», но увидели немало ценных и, как выясняется, очень дефицитных человеческих качеств, впору задуматься и над тем, как теперь в некоторых контекстах мешает Штольцу его нерусская фамилия. Точнее, не Штольцу, а нам, нашему пониманию российской идентичности.

При всей житейской, практической актуальности этой проблемы, в теоретическом плане она почти примитивна. Перейти от *poleмики на уничтожение* между разными представлениями об идентичности к признанию идентичностью самой этой сборки, пусть даже воинствующей, концептуально не так сложно (хотя и порой почти невозможно идеологиче-

ски). Но у этой темы есть продолжение, намечающее выход на более общую теоретическую проблему, которая, как впоследствии может оказаться, имеет еще и множество практических приложений. Если мы более или менее легко признаём необходимость перехода от чрезмерного акцентирования каких-то одних сторон идентичности к осмыслению идентичности как сложной и многосоставной композиции, то тем самым мы ставим себя перед куда более трудной проблемой: если идентичность это сборка, то как можно выйти на ее *полноту*? Ведь если мы переходим от противоборства альтернатив к поиску возможностей их сосуществования, то тем самым признается не просто ценность внутреннего примирения, взаимообогащения и синтеза или, как минимум, толерантности, но и значимость *всего*. А это «все» еще надо как-то отследить, а затем собрать. В этом плане нет принципиальной разницы между глобальным уровнем, уровнем страны или даже индивида. Если цивилизационный, культурный, политический, экономический, информационный и всякий прочий империализм отрицается в пользу признания полицентризма и ценности многообразия во всей его полноте, то примерно то же происходит (должно происходить) и на уровне отдельных культур, наций, стран, общностей, а, возможно, и на уровне отдельных индивидов, которые в себе могут быть такими же мультикультурными и полицентричными, как и новый мир. Пока же в представлениях доминируют схемы, в которых мультикультурный, политический, экономический и т.п. плюрализм признается на одних уровнях, но не воспринимается как ценность (или даже как данность) на уровнях более низкого порядка.

Например, на «планетарном» уровне ведется полемика между двумя основными версиями перспектив глобальной идентичности: либо мир неотвратимо идет к унификации и к все большему доминированию западной, евроатлантической цивилизации – либо «конец истории» вопреки Фукуяме все же отменяется или, как минимум, на неопределенное время откладывается, и мир разворачивается к полицентризму, многокультурности, разнообразию укладов, уважению к малому и уникальному. Однако даже в рядах сторонников равноправия культур и многообразия цивилизаций продолжает, как правило, господствовать представление о том, что сами эти культуры и цивилизации, составляющие мозаику глобального целого, внутри себя остаются достаточно едиными, целостными, строго хранящими свою исходную или текущую идентичность. Иначе говоря, люди, требующие для себя и других равноправия идентичностей и их диалога, например, между странами, ностальгируя по утраченной или пошатнувшейся идентичности собственной страны или культуры, по сути, ставят под сомнение возможность такого же или сходного плюрализма и диалога *внутри* страны, по поводу *ее собственной* идентичности.

Иначе говоря, получается, что плюрализм на одном этаже иерархии идентичностей поддерживает, если не консервирует однозначную идентичность этажом ниже. Но если мы защищаем локальную идентичность уже двумя этажами ниже, то этажом выше опять необходим плюрализм... а там мы вроде бы еще боремся за единую идентичность, противостоящую глобальному усреднению. Так, идентичность

страны в глобальной культурной сборке – это ее самостоятельность и определенность. Но эта идентичность может сковывать самостоятельность и свободу идентичности группы, идентичность группы может сковывать идентичности индивидов и т.д.

Эта борьба за определенные и единые локальные идентичности не всегда убедительна как в ценностном, моральном плане, так и в потоке реальных исторических изменений. Ситуация уже другая хотя бы по факту: идентичности и на страновом уровне все более теряют однозначность и приобретают пористость, соглашаются с вкраплениями, которые могут быть более или менее органичными, а то и вовсе кажутся чужеродными. Тоска по былой этнонациональной, культурной, политической и т.п. идентичности при усилении такого настроения до определенного уровня экзальтации и доведения выводов из него до логического конца означает не что иное, как желание развернуть эту тенденцию вспять, что вряд ли. Такого рода инициативы крайне рискованны, хотя бы потому, что неотвратимо сталкиваются с двумя зубодробительными вопросами: во-первых, как, какими средствами и инструментами, какой ценой и с какими последствиями это предполагается сделать; а во-вторых, кто именно, на каком основании и по какому праву в условиях неизбежных разночтений и спора будет решать, что представляет собой эта утраченная и восстанавливаемая идентичность? Иначе говоря, кто и как будет здесь что-то «поднимать на щит» – а, соответственно, и наоборот, третировать и фильтровать?

Локальная идентичность может противостоять внешней экспансии, только если она сама этого хочет и имеет на это силы – в этом случае она сама все внешнее более или менее легко фильтрует или ассимилирует. Если же какая-либо общность сама страстно хочет чужого, то запреты на культурный импорт и внешние контакты оказываются насильем, причем насильем именно над нынешней идентичностью данной общности: иногда моя идентичность – это скорее то, чего я хочу, а не то, что я уже есть и что имею.

Конечно, это не отрицает возможности противостояния внешнему, например, информационному, идеологическому и т.п. насилию – если таковое действительно имеет место. Но, строго говоря, с точки зрения более или менее либеральных ценностей, на уровне страны не так много оснований устанавливать какой-то иной уровень идентичности и порядок идентификаций, чем в наиболее прогрессивных глобальных схемах, отвергающих гегемонию, а тем более исключительность тех или иных отдельных схем. Если в стране складывается некая достаточно единая и внутренне организованная идентичность, это можно приветствовать – или не приветствовать. Но если такая идентичность в силу тех или иных обстоятельств не очень складывается и кто-то начинает ее целенаправленно, искусственно «складывать», это сразу вызывает серьезные опасения: отстаивая «свое» и отсекая «чужое», сплошь и рядом отсеивают и подавляют *другое свое*, которое в силу тех или иных причин не нравится тем, кто складывает. Одна страна, один народ, одна идентичность... что-то в этом есть до боли знакомое.



Здесь проступает, а затем и все более явственно просматривается крайне щекотливая проблема взаимоотношений *человека и государства, индивида и власти*. Это, в конце концов, вопрос приоритетов, средоточия ценностей в данных парах взаимоотношений. Не случайно защитники более осторожных подходов к национальной идентичности практически без исключения ставят во главу угла человека, индивида, лицо. И наоборот, радетели за четкую, определенную и едва ли не однозначную идентичность сплошь и рядом являются государственниками, этакими, державниками, а то и более или менее стыдливими империалистами. Они и говорят неизменно не от себя лично, а сразу от лица народа, этноса, его культуры и истории, традиции, национального характера и «статии», от имени страны и государства.

Во всем этом напряженном разговоре представляется крайне важным затвердить одну «метафизическую» позицию: идентичность (в том смысле, в каком данное понятие здесь обсуждается) это не масса, которую можно инструментально замерить, и не химическая формула, которую можно выявить серией идентифицирующих опытов. Это внутреннее состояние человека, культуры. Идентичность либо принимается и переживается – либо ее нет вовсе, какими бы построениями ее «органичность» ни обосновывалась. Поэтому нет идентичности в себе и для себя, без субъекта-носителя, а есть лишь то, что чувствуют, думают и говорят те или иные люди по поводу той или иной иден-

тичности, в том числе национальной, в данном случае российской¹².

Такая позиция пробивает брешь в опасной склейке национальной идентичности, с одной стороны, и государства, власти – с другой. Она вскрывает неизменно частное видение, которое, как и всякая идеология, любит прятаться за якобы обезличенными истинами. Такая позиция всегда требует предъявления говорящего и отведения ему соответствующего места. Одновременно она делает комплектной и саму идентичность, о которой как о таковой можно говорить только при условии, что она впускает разное. Если идентичность это мир, то каждый ее носитель имеет право сказать: без меня мир не полный. В работе над социальной и национальной идентичностью права меньшинства и ценность индивидов значат ничуть не меньше, чем в политике.

В этой логике также понятно, почему исследователи, занимающиеся персональной, личностной идентичностью (в частности психологи), с некоторых пор не только не но-

¹² Вообще говоря, здесь все еще сложнее. В обычных ситуациях есть объект «сам по себе» (хотя он нам как таковой и не дан) – и то, что мы знаем или чувствуем в отношении этого объекта. Идентичность гуманитарного объекта осложняется тем, что он и сам – субъект. В определенном плане он идентичен себе независимо от того, что он о себе думает (о человеке извне можно знать больше и лучше, чем он сам о себе). Но его самопонимание, самоощущение и самооценки – это тоже его идентичность. И тогда здесь надстраивается сразу несколько уровней: «объективная» идентичность субъекта (изучаемое) – его субъективная идентичность (им переживаемое, но тоже изучаемое, хотя и в другой ипостаси) – наше говорение об этих идентичностях (например, о социальной или национальной) – наша рефлексия над этим говорением. Но в данном контексте речь идет о ситуации более простой и исключительно жизненной: о нашей идентичности нам все время *кто-то* рассказывает. И слепо верить всему этому вовсе не обязательно.

сятся с идентичностью как с безусловной целью и ценностью, но с повышенным вниманием относятся к ситуациям исчезновения идентичности, ее изменения и даже преодоления. У нас это прежде всего концепция *диалога*, в которой личность осознает и утверждает себя в Другом, для чего приходится в известном смысле поступаться собственной идентичностью. Это открывает возможность понять другого, встав на его позицию и донести свою позицию с поддержкой встречного понимания. Эта модель почти без потерь передается и на более высокие уровни идентичности, в том числе национальной. В конце концов, в современном мире страна, в которой вовсе нет проблем с общей идентичностью и в которой общая идентичность становится иконой и знаменем – во многом ущербна и архаична, скованна и малопродуктивна, маловосприимчива. Уже потому, что в ней оказывается свернут диалог и ущемлены ценности понимания, заблокирован поиск. В такой стране власти (стоящие за властью) лишь говорят, но не слышат, даже не слушают. Причем не слушают не только по поводу национальной идентичности, но и по всем остальным поводам. Поэтому политические игры с идентичностью – это всегда очень сильная симптоматика и точный диагноз.

Отсюда вырисовывается сквозная модель, охватывающая одним подходом самые разные уровни идентификации. Идеи многополярного, многоукладного, разнокультурного, мультицивилизационного мира находят отголоски и на уровне идентичности отдельных стран, в композициях их собственных идентичностей. Далее, эти же «многополярные» идеи и настроения спускаются и на уровень тех или

иных общностей, в которые входит человек, будь то группы, фрагменты массы, мгновенные социетальные сборки и т.д., со всеми сопутствующими организованностями. Наконец, те же подходы к идентичности обнаруживаются и на персональном, индивидуальном уровне, в структуре личности. Личность, обращающаяся со своей идентичностью легко и свободно, интересна и продуктивна, тогда как однозначные колокольчики звенят утомительно и, как правило, без толку. И наоборот, сказанное о личностях во многом относится и к «личностям» стран, этносов, наций, культур и государств.

Отношение к собственной идентичности, как в зеркале, отражается в отношении к Другому. Свободное и неперенапряженное отношение к своей идентичности делает человека (и, соответственно, субъекта любого уровня общности) лояльным в отношении Другого – более терпимым, внимательным и ответственным. Отношения «по вертикали» выравниваются. «Чужое» все чаще воспринимается как *другое свое*. Примиряются прежние противостояния. В итоге эта лояльность прорывает границы идентичностей: Другое начинает проникать в Свое множественными десантами.

Эта переоценка ценностей в отношении к Другому не только наблюдаема, но и объяснима. Перелом произошел в апогее цивилизации воздействия, когда всякое другое вдруг оказалось если не на грани исчезновения, то в ситуации неприемлемого страдания – будь то природа, естественность жизни или просто другие общности: аборигены, евреи, иноверцы или инакомыслящие (здесь почти в одном ряду оказываются загубленные ландшафты, замученные и уби-

тые идеи, вытравленные или ассимилированные культуры, ГУЛАГ и Освенцим). И здесь многое воспроизводится ровно в той схеме, которая выше описывалась в отношении экспансии проектного начала в архитектуре, градостроительстве и средообразовании. Всякий близкий к реализации проект, собственно, и есть подавление другого. И утверждение своей самости.

Однако в новой этике отношений самобытность определяется не отторжением другого, а формой принятия разного (если оно не противоречит фундаментальным запретам). Я самобытен не собственной уникальной экзотикой, а в том числе сборкой и конфигурацией фрагментов другого.

То же изменение происходит и с утверждением самобытности во времени. Самобытность – это не привязка к прошлым и господствующим идентичностям, какими бы самобытными и родными, исконно нашими мы их ни считали. Это *реальная возможность **быть самому*** – в каждый текущий и будущий момент времени. Это не сковывающая этноэкзотика, а ***право свободы исторического выбора и поступка.***

Философия самобытности – это философия ненасилия над собственной природой – и над собственным будущим.

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОПРОС. ОТВЕТЫ

Все это заставляет несколько иначе взглянуть на «анкету» нашей искомой идентичности, на «опросный лист». Как уже говорилось, при таком подходе здесь требуется максимальная полнота охвата содержаний и аспектов. Если мир стремится *сохранить все* (поскольку заранее нельзя предугадать, что именно из этого многообразия окажется ценным для будущего, а что, наоборот, резко потускнеет), то и на уровнях идентичности страны, общностей и индивидов в работе над идентичностью требуется такая же неизбирательность, своего рода страсть к собирательству. Тут все потенциально ценно: сейчас это «не мое» – а завтра я без этого не смогу.

Такой взгляд на вещи относится не только к ответам, но и к вопросам. «Опросный лист» при таком подходе становится если не бесконечным, то принципиально открытым, стремящимся устранить все возможные лакуны. Это принципиально иная техника работы с идентичностью, нежели разрозненные рассуждения на отдельные любимые, избирательные темы, будь то положение между Западом и Востоком, драматическая и несколько корявая протяженность страны в пространстве, ее державность, богоизбранность и мессианство, духовность, общинность, жертвенность и пр. Строго говоря, для «анкеты» идентичности, в том числе российской, на данный момент самым актуальным может оказаться именно метаопрос: а о чем мы себя в отношении самих себя *еще не спрашивали?* Тем более такие отступления продуктивны, когда на старых тематических делянках

сказано уже очень много, если не все и даже лишнее, а договориться все равно не получается.

Далее встает проблема организации, структурирования этого большого поля вопросов. В результате это может оказаться сложная и даже сверхсложная матрица, скорее всего многомерная, построенная на разных осях. Опросный лист расширяется по вертикали (от идентичности индивида, до межстрановых блоков, мегакультур и человечества в целом) и по горизонтали (включая новые темы, целые направления). Кроме того, здесь появляется временное измерение идентичности, имеющей разные ипостаси: прошлое – данность – проект. Помимо идентификаций в разных ячейках, главным становится, как в этой матрице все увязано, какие здесь есть взаимовлияния, гармонии или, наоборот, фатальные несоответствия.



Одна из таких осей – вертикальная – уже наметилась и выше частично описана. Нередко ограничиваются анализом личностной (персональной), этнической и национально-государственной идентичности, их соотношением. Однако установка на полноту «анкеты» требует дополнения этого перечня идентичностей, связанных по вертикали, причем дополнения как сверху, так и снизу.

Прежде всего, выше национально-государственной надстраивается еще целый ряд идентичностей наднационального уровня. Таковыми являются международные сборки типа бывшего соцлагеря или НАТО, нынешнего ЕС или СНГ. Во всех этих случаях присутствует своя, «блоковая» идентичность и нередко она является серьезной проблемой

(например, для нынешнего СНГ, состав которого может казаться – и обычно кажется! – сугубо случайной склейкой осколков бывшего СССР, в этом наборе оправданной скорее текущей и изменчивой политической конъюнктурой, нежели более фундаментальными историческими, культурными и пр. обстоятельствами). Во всяком случае, таких обстоятельств можно представить себе существенно больше, чем это задействовано в реальной политике и обыденном сознании членов содружества. Проблемы с идентичностью возникают и в таких образованиях, как, например, ЕС или НАТО, особенно когда встает вопрос о присоединении к ним государств, в обычном понимании не вполне относящихся к Европе, а тем более к Северной Атлантике, даже географически (чего часто не замечают, поскольку на бытовом уровне юго-восточные границы Европы обычно представляются вовсе не там, где они проходят на самом деле). Такие нонсенсы могут не иметь правовых последствий, но важны для определения идентичности, в том числе для информационных баталий вокруг подобных присоединений. Причем это важно как для содружеств и союзов в целом, так и для их отдельных участников, собственная идентичность которых может мутировать с каждым из таких присоединений.

Далее надстрановой уровень предполагает идентичность культур (больших или меньших культурных ареалов), а то и цивилизаций. Так бывший СССР своими границами очевидно перекрывал такого рода культурные, цивилизационные ареалы, объединяя в одном государстве и в одной политической системе крайне разнородные составляющие,

например, страны Балтии и среднеазиатские республики. Даже не самый изощренный анализ показывает, что унификация идентичностей в республиках СССР была гораздо более поверхностной, чем это казалось на первый взгляд, обставлялось внешними атрибутами и пропагандировалось официальной идеологией. При всей формальной идентичности институтов, можно утверждать, что республики Союза жили с достаточно разными политическими системами, даже разными экономиками, не говоря уже о повседневных укладах. Что же касается собственно России как *союзобразующего* элемента, то имперская сборка СССР была во многом в духе старой российской идентичности, но и с целым рядом существенных отличий, в результате приведших к кризису и распаду. Забегая вперед, надо заметить, что Россия во многом растворилась в «советской империи» (в том числе и за счет того, что идентифицировалась с ней как с целым), а потому в результате развала Союза оказалась перед необходимостью едва ли не заново решать многие вопросы собственной идентичности. Проще говоря, став Союзом, Россия в определенном смысле (как идентичность) вместе с ним и умерла – и теперь заново мучительно рождается. Что мы и наблюдали недавно в виде агонии, усугубленной неправильными родовыми схватками.

Здесь важно подчеркнуть, что надстрановая идентичность, т.е. идентичность межгосударственных сборок, не изолирована от более низких уровней идентификации, а пронизывает их насквозь (хотя, возможно, и несколько утрачивая свое влияние, делая его все более опосредованным при снижении по вертикали). В особенности это заметно на

уровне индивидуальной идентичности, в этом плане куда более самостоятельной. (Хотя, если взять в пределе, *дивид*, смотрящий в рот своему правительству, может сколько угодно радикально менять известные составляющие «своей» идентичности в зависимости от флюгерных изменений внешней политики родного государства).

Соответственно, имеет место и встречное воздействие, снизу вверх. Точнее, именно с него все и начинается: обычно включению в те или иные внешние сборки предшествует более или менее понятное *самоизменение*.

Идентичность межстранового блока в целом предопределяет, с кем на международной арене он может или не может позитивно взаимодействовать или враждовать. Но вступление в те или иные союзы «второго порядка» и укрепление внешних связей (или, наоборот, возникновение или обострение конфликтов) уже меняет твою собственную идентичность – будь то международный блок, страна, государство, элита и власть, партия, социальная группа и т.д., вплоть до конъюнктурно податливого индивида. Это часто недооценивают, но это важно как для понимания последствий тех или иных сближений или противостояний, так и для анализа, для выявления подлинной (не декларируемой) идентичности, например, государства, политического курса и т.д., вплоть до известных качеств отдельных руководящих личностей. Причем здесь не важно, поддерживаются те или иные «внешнеполитические» действия или, наоборот, не одобряются. Так, какие-то сближения или конфликты государство может считать для себя политически невозможными, например, идейно или морально неприемлемыми, даже если

они сулят видимые геостратегические, дипломатические, экономические или военные выгоды. Если же такие сближения вдруг оказываются возможными, приемлемыми и даже пропагандируются, это может быть свидетельством и собственной эволюции режима, отголоском – и весьма тревожным! – серьезных изменений в том числе и внутривосточного курса. «Скажи, кто твой друг...». Или враг.

Вопиющий цинизм в международных отношениях – дело обычное (логика «своих мерзавцев»), однако имеет пределы. Кроме того, приходится различать ситуации, когда на циничные сделки страна (точнее, власть) идет вопреки своему внутривосточному курсу – и когда такие сделки с точки зрения уже и внутренней политики становятся даже не странными, а все более органичными и естественными. И в любом случае такие связи не остаются без последствий для внутренних дел: сомнительные рукопожатия плохо отмирают, после них долго всякое прилипает.

Такого рода «вертикаль идентичности» сверху более или менее понятным образом ограничена *идентичностью человечества* как наивысшей общности. Эта идентичность задается такими индикаторами, как место человека в природе и его предназначение в мире, глобальные проблемы или реалии глобализации, некоторыми мировоззренческими противостояниями (например, между эволюционизмом и креационизмом). Наконец, эта идентичность имеет не только планетарное, но и космическое измерение. Например, *антропный принцип*, будучи, казалось бы, сугубо научной, космогонической гипотезой, в то же время влечет за собой некоторые известные и весьма весомые выводы, важные

для переоценки поведения человека на планете. Это – уже совершенно другая идентичность человека во Вселенной, но и другая идентичность нашей земной ипостаси, другой этос, другие обязательства.

На противоположном полюсе находится индивид, личность, персона, лицо – еще совсем недавно неделимое ядро, атом человеческой идентичности. Однако с некоторых пор и эти целостность и неделимость радикально поставлены под вопрос. Расщепляется и этот «атом» идентичности. Достаточно того, что проблемы биоэтики (трансплантации, эвтаназии и поддержания жизни, клонирования, прав зародышей, смены пола и т.п.) уже резко проблематизировали человеческую идентичность: до каких пор человек остается самим собой как организм, как это влияет на его личность, по каким критериям человек идентифицируется как таковой, а не как биологическое тело, пусть даже продолжающее физиологически функционировать?

Еще раньше, как уже отмечалось, идеальная идентичность человека как индивидуальной целостности была поставлена под сомнение в самых разных философских течениях: в марксизме, психоанализе, экзистенциализме, постструктурализме и пр., не говоря уже о философическом постмодерне в собственном смысле этого слова. Хотя чаще это делалось на замесе критики и ностальгии, и даже в пафосе преодоления этих разрывов, ту же ситуацию можно представить и в более спокойных, даже возвышенных тонах, например, в духе сентенций о том, что *человек – это вселенная*. В конструкции этой вселенной также есть свои пласты, этажи, уровни идентификации, между которыми

есть свои напряжения, взаимодействия, схождения и разрывы. Каждый из этих пластов в итоге также может оказаться внутри себя «неисчерпаем, как атом».

И здесь также присутствует сложная структура идентичности. «Внутри» личности есть своя «внешняя политика», не всегда согласующаяся с «политикой» внутренней или личностной моралью – это союзники и враги, конфигурация которых одновременно и задается личностной идентичностью, и оказывает на нее обратное влияние. Здесь есть свои, личностные «государство» и «власть», органы управления, контроля и надзора, защиты и нападения. Здесь, во взаимоотношениях с самим собой также есть элементы диктата и демократии, своя «партийная система» (если принять, что современный индивид внутри себя сплошь и рядом оказывается существом не однопартийным). Здесь есть свои системы образования и воспитания, экономики и социальной поддержки, свои инстанции национальной политики, институты культуры. Каждая из этих составляющих личности (ее персональных «институтов») имеет свою идентичность, и об этой сложной структуре имеет смысл говорить именно потому и с тех пор, почему и когда эти идентичности перестают демонстрировать беспримерные единство и гармонию.



Далее – и это более привычное дело в разговорах об идентичности – обнаруживаются «горизонтальные» оси, на которые нанизываются элементы содержания, разные тематические линии идентификации. Такой тематический веер может быть построен на каждом из уровней (этажей) вер-

тикальной оси. При этом отдельный методологический вопрос состоит в том, насколько повторяются (а также чем и почему отличаются) «опросники» идентичности на разных уровнях (например, в сборках идентичности индивида, группы, этноса и т.д., вплоть до человечества).

Начинается все с самых, казалось бы, простых вопросов, которые, однако, просты лишь в обычных анкетах, но применительно к идентичности, например, этноса или народа уже могут вызывать разночтения и упираться в почти фатальные проблемы.

Обычно анкеты начинаются с биографических данных – с так называемой *объективки*. И уже вопрос об *имени*, не вызывающий у нормального человека затруднений, для народа может оказаться весьма не простым, а то и почти неразрешимым. Так, граждане СССР как народ не имели нормального *своего* имени, т.е. распространенного и общепотребимого самоназвания. За рубежом нас называли русскими, советскими и т.п., но ни одно из этих имен не было для всех нас своим, принятым в повседневности (хотя бы в силу полиэтничности нации и ее бытового аполитизма). Так же как и официальное «советский народ».

Нечто подобное происходит с именем «россияне». Появившись в ельцинскую эпоху, это слово сразу приобрело черты помпезности, заигрывания с историческими аллюзиями, оттенок музеефикации. Максимум, куда оно спустилось в употреблении, это в более или менее специальную литературу, например, в статистику, где сочетание византизма и бухучета неизменно вызывает иронию (ср.: в 2008 г. россияне купили..., съели..., выпили... и т.д.). Обычные люди

россиянами называют себя разве что по недоразумению или от безысходности. Спортивные комментаторы не задумываясь называют чужие сборные и даже отдельные иностранные команды шведами, чехами, канадцами или американцами, но о соотечественниках вынуждены говорить либо «наши», либо, когда есть время на артикуляцию, пользоваться казенным «российские спортсмены». Это, как и многое другое в том же духе, верный знак того, что у нас нет *своего* имени. Его не было уже тогда, когда Сталин, обращаясь к стране в начале Войны, в своей самой пафосной речи, произнес величественные и страшные слова: «Братья и сестры!». В этих словах и ужас трагедии, заставившей тирана отбросить официальные клише и разорвать вождистскую дистанцию – но и явное отсутствие собственного имени у общности, к которой он обращался, не имея возможность, например, подобно Наполеону, произнести естественно и сильно: «Французы!». И эта проблема для нас явно не лингвистическая; это вопрос идентичности, которая либо не вполне определена, либо на повседневном языке не выговаривается. Сколько бы ни говорили о том, что можно быть русским, не будучи русским по крови, этнически, что для этого достаточно «думать по-русски», «любить Россию» и т.п., эти конструкции сходятся только у тех, кто сам их пропагандирует.

Похожие проблемы обнаруживаются буквально в следующей строке анкеты, в вопросе об «отчестве». В историческом плане это вопрос об избирательной генеалогии, об исторической, культурной, политической, геостратегической и т.п. преемственности, о «происхождении».

В отличие от обычных людей, страны и народы вовсе не обязательно в графе «отчество» пишут имена именно ближайших предков (например, в данном случае, для нынешней России это были бы СССР, советский народ и т.п.). Они более или менее свободно выбирают из предков всех предыдущих поколений, на любой глубине, определение которой также является самостоятельной проблемой. И выбор этот может быть значимым, порой судьбоносным, но при этом даже не обязательно географически локализованным. Если иметь в виду извлечение некоего значимого на данный момент смысла, этот выбор идентичности не удовлетворяется «всем тем, что имело место примерно на этой территории и от века». Здесь, как правило, оказываются задействованы более определенные и обоснованно выбираемые отдельные отправные точки. Это может быть и страна русичей и вятичей, и империя Петра или Екатерины и т.д., вплоть до недавно преставившегося СССР.

Выбор такой идентичности рождает споры, но предлагаемые версии правильнее анализировать не только в плане «адекватного» воспроизведения и интерпретации ими истории, не с точки зрения историософии или культурологии вопроса, но и исследовать инструментами современной, оперативной политологии, в рамках анализа *текущего* идеологического процесса, исследования *современного* агитпропа и т.п. Аргументы от истории или культуры в таких случаях, конечно же, имеют свое значение, но в конечном счете они играют роль идеологической упаковки, призванной обеспечить продвижение определенных политических проектов. История и культурология сплошь и

рядом оказываются здесь служанками идеологии (если только это не бессознательная политическая предустановка). А поскольку выбор «отчества» из всех поколений прежней идентичности в принципе открыт, вектор научного анализа разворачивается здесь ровно на 180 градусов: мы не столько из прошлой «оптимальной» или «корневой» идентичности выводим новую и будущую, сколько, наоборот, понимаем и судим новую, уже складывающуюся идентичность по тому, какой вариант из прошлых нам в рамках этой идентичности пытаются навязать и как именно, какими процедурами выбор из этих идентичностей осуществляется, как он транслируется в общество и т.д. Иначе говоря, если иметь виду нас современных, то ответ на sacramentalный вопрос «Кто мы?» кроется *не столько в истории, сколько в том, как мы сейчас с ней обращаемся.*

Это в полной мере относится и к другой ипостаси «отчества» страны – к историческим персонификациям национальной идентичности, к национальным героям-«прародителям». Например, в США это называется «отцы-основатели».

С некоторых пор нас это также задевает. Так, в проекте «Имя Россия», во многом странном, но в чем-то, возможно, и познавательном, персоны наших современников – участников «круглого стола», представляющих своих исторических героев, в конечном счете, были не менее информативны и значимы, чем имена самих обсуждаемых исторических деятелей и светочей культуры. Для понимания надвигающейся идентичности важнее истории становится сам сценарий *нынешней* акции, ее действующие лица. В этом смысле «именем» России оказываются уже не столько обсуждаемые

вожди, цари, полководцы, поэты или ученые, сколько сами участники представления: режиссер и киноадминистратор, председатель палаты, партийный лидер, священнослужитель, свежеиспеченный дипломат, сусальный живописец, моложавый губернатор, отставной генерал. Плюс сама процедура: все они, по сути, обращаются к народу-ребенку с вопросом: «Ты кого больше любишь, папу или маму?». И конечно же, голосование, в котором по большому счету просвечивает вполне определенное отношение к демократии как к художественно организованной интерактивной игре. Во всей это «идентичности» интереснее оказывается не история, а именно ее современный дизайн.



Аналогичные проблемы возникают и при ответах на следующие вопросы анкеты. Строго говоря, место и дата рождения нынешней России определяются известным соглашением в Беловежской Пуще – нравится это кому-то или нет. И на эту дату можно смотреть по-разному. Можно полагать, что в тот момент распался Союз, и Россия, бывшая до этого РСФСР, «всего лишь» перешла из одного содружества в другое, более узкое. Но если исходить из того, что СССР, по сути, и был Большой Россией, то окажется, что в тот момент исчезло одно государство и на части его территории образовалось новое. Или, как минимум, что прежняя *империя* (со всеми оговорками по поводу употребления этого понятия применительно к СССР) радикально сжалась. Причем настолько радикально, что и в этом случае приходится говорить о возникновении нового государства (даже если не иметь в виду фундаментальные изменения в общественно-

политической и социально-экономической сферах, в идеологии и т.п.). Как бы там ни было, это существенно разные идентичности: бывшая РСФСР, преобразованная в Российскую Федерацию и только сменившая одно содружество на другое, куда более локальное, но и менее плотное (СССР – на СНГ) – или это все же радикально ужатый СССР, неявно идентифицировавшийся с «Большой Россией».

Ответ на этот вопрос важен для внешнеполитической доктрины, причем в обеих ее ипостасях – как для публичного предьявления, так и для внутреннего пользования. Хотя точнее здесь было бы говорить не об ответе, а об ответах (скорее всего однозначного решения здесь нет, и одним ответом не обойдешься). И, похоже, не все честное и искреннее в этих ответах может оказаться публично, а тем более на государственном уровне выговариваемым (например, в интересах все той же внешней, а во многом и внутренней политики). Хотя понятно, что это два очень разных смыслообраза – и две разные перспективы. Россия как самостоятельная часть, вышедшая из СССР, это «кусок», который может более или менее спокойно вступать в разные сборки. Россия как радикально усеченный Союз – это пружина, которую грубо сжали, но до конца не сломали, и которая будет всеми силами распрямляться.

Эта дата рождения нынешней России как нового и идентичного себе государства трудно признается еще по целому ряду причин. Распад СССР почти без исключения воспринимается изнутри России как драма, если не как трагедия. Рождение новой России по дате и месту не может стать праздником (как это вообще-то положено), поскольку день рождения

одной страны совпадает здесь с датой смерти другой. Причем для многих смерть Союза в этой исторической точке значит существенно больше, чем рождение России (если таковое вообще признается: сплошь и рядом возникшее государственное образование воспринимают не как новое, а как почти чудесным образом оставшуюся в живых часть погибшего большого тела). Праздновать травму не получается.

Это серьезно: отношение к моменту и обстоятельствам появления на свет нового государства накладывает отпечаток и на отношение граждан к самому этому государству (хотя для сложности таких отношений хватает и других поводов).

На этом фоне понятны и другие проблемы формуляра, например, связанные с *национальными праздниками* – с днями, в которые принято искренне поздравлять, ходить в гости, делать подарки, а то и что-то от души демонстрировать. Сейчас таковыми остались только Новый год и День Победы. Новогодний праздник всегда был самым домашним и душевным, но он не имеет отношения к стране, к ее собственной биографии (как бы ни привязывали Деда Мороза к Устюгу). День Победы также праздновался вполне искренне, но в ряду главных политических праздников он был несколько задвинут на второй план Первомаем и Великим Октябрем, отмечавшимся в ноябре. Первое мая почти безболезненно выпало из списка больших праздников из-за близости во времени Дня Победы. В результате праздник Победы несколько оттянул на себя традицию и пафос первомайских торжеств, причем не только потому, что остался без конкурента по сезону, но и потому, что победа в Войне осталась вообще без конкурентов среди политических со-

бытий и общенациональных ценностей исторического плана. Для того чтобы осенью также не создавать провала в привычное для празднований время, пришлось изобрести новый, дополнительный осенний праздник, причем выбор события, судя по всему, определялся не столько его беспримечной исторической значимостью, сколько близостью к дате абортируемых ноябрьских торжеств. Новый праздник не имеет ни собственного достаточного нарратива (т.е. повествования, достойного считаться в истории настолько исключительным и судьбоносным, чтобы выдвигать данную дату в ряд первых ежегодных торжеств и едва ли не главных регулярных событий года). Не имеет он и достаточно сильной идеологии (какая была, например, у Первомая, хотя День международной солидарности трудящихся тоже имел крайне слабый «подпирающий» нарратив и не случайно даже в околоофициальной риторике аполитично и даже несколько язычески именовался праздником не только труда, но и весны).

Печать искусственности видна и в других новых датах, которые пытаются сделать торжественными. На этом размытом фоне не случайно приподнимаются религиозные праздники, причем не только православные и отмечаемые не только верующими. В целом у дорогих россиян в опросной строке, в которой записывают «когда, кого и с чем поздравлять», видна сумятица, усугубляемая явной переходностью момента и неловкими попытками власти навести здесь порядок управленческими решениями.

Не все очевидно и в тех графах «анкеты» нашего общества, где спрашивается о наградах и взысканиях. Даже в отношении самых ярких и выдающихся страниц россий-

ской истории часто нет приличествующего единства в оценках и интерпретациях. Если военные победы, эпохальные достижения в культуре, науке, технике и т.п. оцениваются более или менее согласованно (хотя порой тоже весьма по-разному), то деяния и события в области политики, государственного строительства, просветительства и цивилизационных сдвигов, геостратегии, социальных новаций и т.д. вызывают оценки очень несхожие, часто взаимоисключающие. Например, преобразования Петра оцениваются одновременно и как прорыв в Европу – и как «некритическая вестернизация». Они трактуются либо как общенациональное историческое благодеяние – либо как типичный для России эпизод «строительства на костях», когда государство самоутверждалось, не выбирая средств и обращаясь с народом, как с расходным материалом¹³. В этой же эпохе может акцентироваться либо рождение новой России – либо умерщвление России традиционной, с ее особой «статьей». Прорубание «окна в Европу» еще совсем недавно трактовалось как величайшее историческое достижение, зато теперь претенденты на культурное лидерство публично возмущаются тем, «что к нам через это окно поперло».

¹³ Если сам Петр свою историческую миссию видел в аллегории с прародителем рода человеческого Адамом, статую которого он водрузил в Петергофе, то теперь в патриотических построениях он чаще предстает, наоборот, чуть ли не могильщиком Руси «святой и изначальной». То же с царствованием Екатерины (которая, кстати, вслед за Петром олицетворила себя симметрично поставленной в том же Петергофе статуей Евы): здесь все слишком меняется в зависимости от ракурса, а в итоге – от политической задачи. Это может быть и переписка с просветителем – и египетский фаворитизм, успехи государственного строительства, выдающаяся имперская экспансия – и неоправданные заигрывания с Европой, приведшие к провалу крупных и перспективных геополитических проектов.

Такого рода примеры резких разночтений можно множить до бесконечности. Но, во-первых, надо иметь в виду реальную неоднозначность и противоречивость многих, если не большинства деяний и событий российской истории. Во-вторых, в такой неоднозначности оценок мы в мире вовсе не уникальны (за исключением идеологических диктатур). Те же британцы представляют свою историю и как величественную эпопею, и как «свиток злодеяний», изучая который, потомки Империи благодарят бога, что им не довелось родиться раньше. Но есть одно важное отличие: одно дело неоднозначность оценок, а другое – поляризация в оценках, столкновение позиций, которые сами по себе вполне однозначны.

Крайне напряженным продолжает оставаться вопрос об идентичности и оценках, пожалуй, одного из самых драматичных эпизодов в истории страны – эпопеи коммунистического строительства и выхода из этого проекта. Такого рода разночтения переходят все границы обычного плюрализма мнений и оценок – притом, что эти оценки и интерпретации продолжают оставаться морально значимыми, достаточно болезненными и политически актуальными, влияющими на траектории политического курса. Позиции здесь порой настолько полярны, что иногда трудно отделаться от впечатления, что главные противостояния прошлого века не закончились, что в головах людей так и продолжается гражданская война. Причем слово «война» здесь не художественное преувеличение, а почти строгая характеристика состояния умов. Дело даже не в той страсти и ярости, с какой между людьми нередко ведутся такого рода споры с переходом на личности и родную лексику, а преж-

де всего в том, что в такого рода дискуссиях, и на бытовом уровне, и около большой политики, вообще нет установки на понимание, а есть лишь установка на свою победу и безоговорочную капитуляцию врага. Это не диалог, а именно боевые действия, полемика на поражение. Такие стратегии в строгом смысле слова называются *демагогическими*.



Еще совсем недавно мы наблюдали живые последствия такого противостояния: сначала раскалываются умы – потом начинают раскалывать головы. Если первый путч унес три жизни и в этом смысле считается почти бескровным, то уже следующее противостояние между президентской и парламентской ветвями власти сопровождалось непринужденной пальбой в городе и массовыми убийствами. Можно, конечно, заметить, что для лидеров противоборствовавших лагерей это была схватка не за идеи, а за власть. Однако массы, составлявшие живую силу этого противостояния, были отмобилизованы вполне идейно. Да и лидеры в конфликте никогда не идут на крайние меры, если не чувствуют за собой серьезной и страстной идейной опоры – даже если в нее верят не они сами, а ведомые массы¹⁴.

С тех пор ситуация изменилась, но лишь отчасти. Для самих идеологов противостояние идей постепенно утрачивает воинственность и все более начинает походить на

¹⁴ Здесь всегда необходимы моральная легитимация и идеологическое алиби. В 1991 году руки у Янаева тряслись, скорее всего, также от неубедительности предприятия и от неубежденности в его массовой моральной (а не силовой) поддержке. Эта фрустрация, надо думать, во многом и блокировала полномасштабное применение силы.

мирный спорт – с той лишь разницей, что идейные бойцы после схваток пожимают друг другу руки и обнимаются не перед зрителями, а только за кулисами. Но на массовом уровне однозначная убежденность все еще сохраняется, а на уровне обыденного общения порой бьет через край, накаляя страсти, почти как прежде. Кризис может дать этой энергии новые выходы. Уже дает.

Еще совсем недавно диагноз был очевиден: в стране *разрушена идеологическая коммуникация*. Сейчас ситуация внешне несколько утихомирилась, хотя форсированная громкость при пониженной слышимости осталась. Тем не менее, оппозиция больше не называет власть оккупантами, захватчиками и агентами иностранного, вражеского влияния, не зовет на баррикады и даже не угрожает всероссийскими стачками. Этому есть ряд объяснений. Власть идейно, по духу, по стилю идеологической работы и организации политической жизни во многом сблизилась с оппозицией и ее идейными предшественниками. Неправдоподобно удачная конъюнктура на рынке сырьевых продаж позволила прикормить значительную часть населения и снять с повестки дня вопрос об открытых выражениях социального протеста. Наконец, в результате разного рода системных маневров политическая арена оказалась настолько вычищенной и выстроенной, а возможности независимой политики настолько сжатыми, что идейные противостояния порой кажутся уже и вовсе игрушечными. Однако, на повестке дня остаются, как минимум, два вопроса:

– во что реально и какой ценой для развития страны обходится идейно-политическое перемирие, достигаемое це-

ной консервативных демаршей, социальных откатов, самобытного использования демократических процедур и театрализации политической жизни?

– насколько такое умиротворение может оказаться прочным при ухудшении экономической конъюнктуры и возврате основных поводов для социального или даже политического протеста?

Мировой финансовый кризис уже показал, что фантастическая конъюнктура в экспорте сырья весьма неустойчива, а разрекламированная «подушка безопасности» в итоге может сработать, как в реальном автомобиле: все живы (пока), но дальше никто никуда не едет.

То же относится и к театрализации политического процесса. Создается впечатление, что в задействованных политтехнологиях явно недооценивается вменяемость обрабатываемого населения (как выразился в частной беседе одних из близких к официозу пиарщиков, «все лохи рыдали»). Большой театр предвыборных кампаний, общения вождей с массами, благотворительных проектов и мудрого оперативного руководства, по большому счету, именно как театр и воспринимается. При этом публика может настолько вживаться в спектакль, что становится его равноправным участником, искренне подыгрывающим главным актерам. Создается впечатление срастания большой и массовой идентичности. Но как и во всяком великом искусстве, эффект искреннего сопереживания и катарсиса здесь крайне хрупок и сохраняется, лишь пока в зрительном зале нормальная температура, а в буфете нет перебоев с продуктами, особенно с напитками. Или пока кто-нибудь что-нибудь громко не крикнет.

При ухудшении климата и питательной среды желающие крикнуть всегда найдутся. И тогда может оказаться, что играть на публику придется уже не лицом, а мускулами.



Вышеописанное – лишь основное из актуальной части «опросного листа» нашей идентичности. Без претензий на полноту здесь было важно показать, насколько неочевидны многие привычные ответы и как остры проблемы, которые за этими разночтениями скрываются. Как бы там ни было, с таким бронепоездом под парами даже вполне мирным людям жить просто опасно. Даже если обойдется – нация, в которой люди ненавидят и боятся друг друга, в историческом плане мало на что способна. Она сама себя стреножит, растрачивая энергию на бесплодную борьбу.

ИДЕИ И ПРАГМАТИКА

Важно еще раз подчеркнуть, что вышеописанные аспекты идентичности сплошь и рядом используются как идеологические инструменты, работающие на более или менее определенную политическую или экономическую прагматику. При этом неважно, осознается этот факт идеологическими субъектами или же прагматика движет ими на бессознательном уровне. Люди, общности, страны и целые культуры обычно думают и говорят о себе, то, что им хотелось бы видеть и что им выгодно видеть, думать и говорить по тем или иным соображениям. Таким образом, идеология как *уговаривающее сознание* может быть в равной мере обращена и к другим, и к себе¹⁵. Идентичность это и самосознание, и – в ничуть не меньшей мере! – инструмент, способ действия, средство манипуляций другими и самими собой. Будучи самими собой, мы в этом смысле идентичны себе; но думая и говоря о собственной идентичности, мы эту идентичность, можем, например, приукрашивать или трактовать ее особым, выгодным нам образом. В этом смысле мы уже не идентичны себе (например, преувеличивая собственные возможности), но идентичны своей жизненной задаче и способам ее решения (например, поступить на работу, победить на выборах, соблазнить девушку или просто погрязнуть в самолюбии).

Это не значит, что такого рода *когерентность* идеологии и прагматики, всегда безусловна и однонаправлена. Наоборот, особый интерес представляют ситуации, когда

¹⁵ Такой подход существенно отличается от распространенных представлений об идеологии как исключительно о «сознании для другого».

такая идентичность имеет отклонения или вовсе отсутствует. Например, когда люди видят действительность и относятся к ней вовсе не так, как это «положено» в соответствии с их местом в этой действительности и *самой* что ни на есть животрепещущей прагматикой. Так, в начале нынешних рыночных реформ в отношении к начавшимся преобразованиям выделялись две по-своему удивительные, «ненормальные» категории реципиентов. Наряду с обычным, понятным раскладом (те, чье положение улучшилось и кто реформы вполне логично поддерживал, и те, чье положение стало хуже и кто к реформам, естественно, относился враждебно), наблюдались весьма распространенные, но при этом парадоксальные позиции, а именно: те, кто морально и идейно принимал реформы, несмотря на явное, порой бедственное ухудшение своего положения, и те, кто реформы отвергал, хотя при этом весьма эффективно и не во вред себе пользовался их результатами. Тогда, при дефиците поддержки начатых реформ, в воздухе висел парадоксальный вопрос: «почему плохо тем, кому хорошо?».

Тут можно говорить о надрыве, о «трещине» в идентичности, а можно полагать, что моральная и идейная идентичность в таких случаях просто оказывалась сильнее идентичности, потенциально задаваемой той прагматикой, которая «следовала» из изменений объективного положения субъектов.

Но в большинстве случаев за фасадом идеологической интерпретации идентичности все же выявляется та или иная политическая, экономическая и т.п. прагматика. Особенно когда речь заходит о макрополитике, о политике, реализуемой на уровне «больших институтов», в том числе

на верхних этажах власти, в ходе определения государственного курса и т.п. Теперь считается хорошим тоном полагать, что экономический детерминизм, особенно в его марксоидных интерпретациях¹⁶, слишком упрощает реальную жизнь сознания, живую практику индивидов и общества. Но бывают ситуации, по своей сути и реальной конфигурации интересов настолько примитивные, что они более изощенного анализа просто не заслуживают, когда говорить об активности морали, идей и представлений не приходится просто потому, что ни морали, ни идей там просто нет или их влияние исчезающе мало. В таких ситуациях примитивно марксоидными являются уже не подходы к анализу, а сама анализируемая реальность – жизненные позиции, выработка стратегий, способы реализации решений и т.п.

Таким образом, в исследовании идентичности субъекта любого уровня мы всегда можем задать ряд взаимосвязанных и последовательных вопросов:

– насколько адекватна идеология данного субъекта его реальной жизненной прагматике, нет ли здесь трудно объяснимых странностей, парадоксов, разрывов?

– в чем именно выражаются «несоответствия» между идеологией данного субъекта и его прагматикой (если таковые существуют) и чем эти несоответствия заданы: прагматикой, подвигающей субъекта на не вполне адекватные идеологические фантазии, или, наоборот, завышенной силой идеологии, вынуждающей субъекта исповедовать идеи,

¹⁶ Термин «марксоидное» употребляется здесь, чтобы отличить примитивные толкования этой концепции от самого Маркса и от более или менее адекватного марксизма.

ценности и представления, которые, казалось бы, его прагматике никак не соответствуют?

– в какой мере такие разрывы между идеологией и прагматикой данным субъектом осознаются (проще говоря, данный субъект эти несоответствия маскирует, вводя окружающих в заблуждение, или же он эти несоответствия не видит и сам добросовестно заблуждается, выстраивая фантазийные конструкции относительно себя, других субъектов, тех или иных процессов, жизненных ситуаций и пр.)?

Такого рода вопросы можно до известной степени упростить: как соотносится между собой то, что люди думают, говорят или делают в отношении своей идентичности? Но эти вопросы можно и множить, делая их все более сложными и тонкими. Здесь же достаточно подчеркнуть, что в реальности взаимоотношения идеологии и прагматики могут быть крайне хитро переплетены, могут иметь множество нюансов. В качестве свежего примера можно привести недавние уверения в том, что в условиях мирового кризиса Россия останется «тихой гаванью» и «островом стабильности», что кризис не будет иметь в России слишком ощутимых и значимых социальных последствий, что стране не грозит рецессия и т.п. Предположим, что эти заявления не во всем соответствуют реальности и более-менее адекватной прогностике (пусть хотя бы в качестве мысленного эксперимента)¹⁷.

Уже на экспертном уровне это могло быть:

– профессиональной ошибкой беспристрастного эксперта, промахнувшегося в расчетах из-за неполноты или искажения исходных данных;

¹⁷ Для понимания: текст написан осенью 2008 г.

– промахом добросовестного, но идеологически «заряженного» эксперта, имеющего неосознаваемую, но именно идейно обусловленную предустановку на определенные выводы;

– промахом добросовестного эксперта, которому довлеют неявно выраженные или самостоятельно угадываемые желания начальства (причем такое угадывание может иметь место на всех уровнях властной иерархии), но который это влияние на выводы как таковое не осознает, не отслеживает или вытесняет;

– сознательной подтасовкой, сделанной экспертом в собственных интересах (например, в ожидании поощрения или продвижения по службе в качестве «гонца доброй вести»);

– сознательной подтасовкой эксперта вопреки его собственным более или менее отдаленным интересам (например, в ущерб профессиональной репутации), но зато в интересах начальства.

Нечто подобное может происходить и на более высоких уровнях оценки положения и принятия решений (условно говоря, «министр» или «зампред»). Это может быть:

– ложная оценка положения в результате дезинформации, исходящей с экспертного уровня (независимо от причин и побуждений такого рода «ошибок снизу»);

– искренний выбор слишком позитивного сценария из ряда представленных на экспертном уровне в силу идеологической «заряженности», интуитивного предугадывания установок вышестоящего начальства и т.п.;

– сознательный перебор в позитивном прогнозе в том же предугадывании вышестоящих ожиданий;

– сознательное приукрашивание действительности и будущего исходя из соображений финансово-экономической прагматики (поддержка контрольных цифр и корректировка поведения экономических субъектов при понимании, что существенная составляющая кризиса связана с настроениями, эмоциями, вплоть до психоза и паники).

Наконец, и на экспертном, и на управленческом уровне трансляция навверх искаженных оценок, не в меру оптимистических прогнозов и несбыточных сценариев может быть ответом на явно выраженный политический заказ.

Все это в итоге передается на самые высокие уровни властной, управленческой иерархии, где, в свою очередь, также возможны разные ситуации:

– заблуждения в результате искаженной информации и неадекватных оценок снизу;

– искренний выбор чрезмерно оптимистических прогнозов и сценариев в силу бессознательных предустановок идеологического или прагматического характера («так хочется» или «так надо»);

– сознательная трансляция избыточного, необоснованного оптимизма из соображений идеологии, политической конъюнктуры (например, выборы), имиджа и пиара и т.д. и т.п., включая нормальные задачи коррекции массового поведения экономических субъектов.

Это лишь условная «решетка» возможностей возникновения отклонений или разрывов в идентичности. Можно представить себе, насколько в реальности все это сочетается или конфликтует, переплетается, смешивается, оказывает взаимовлияние и меняется во времени. В конце концов,

прогноз может быть неадекватно оптимистичным, и потому что в стране так поставлена статистика, и потому что аналитика, сценарии и стратегические программы, передаваемые наверх, могут неявно выступать в роли развернутого заявления с просьбой о сохранении за собой портфеля («у нас все схвачено»). В таких ситуациях субъект одновременно и идентичен себе (он именно таков, каков он есть), и не идентичен (поскольку расколот и внутренне противоречив). Соответственно, в восприятии утрачивает строгую идентичность и сама описываемая и оцениваемая реальность.

Это становится знаком времени. Наши предки, которые в позапрошлый миллениум ждали конца света, были в этом своем ожидании вполне последовательны и идентичны. Сейчас же субъекты могут самым парадоксальным образом смешивать оптимизм и эсхатологию, менять настроение не один раз в день, предпринимать действия, противоречащие собственным же ожиданиям (хотя бы в силу еще не освоенных скоростей в изменения этих ожиданий) и т.д. Взаимоотношения идеологии и прагматики становятся все более противоречивыми и неустойчивыми, мерцающими.



В поисках полноты описания идентичности тех или иных субъектов мы выходим на еще одну ось, которую условно можно назвать *институциональной*. Нередко идентичность сводят к положению в культурной типологии, к этнонациональной особенности, к традициям и укладам, проявлениям характера, темперамента и т.п. Однако в разговоре об идентичности субъекта любого уровня (индивида, социальной общности, этноса или нации, страны и государства)

необходимо в равной мере иметь в виду весь комплекс составляющих идентичности: систему внешнеполитических связей, тип государственности, политическую модель, тип экономики, систему права и правоприменения, социальные институты, гражданское общество, повседневные практики и т.д. и т.п., включая организацию идеологической и духовной жизни, гражданские свободы и положение СМИ, ситуацию в науке и технике, в образовании и культуре. Условно говоря, такого рода «институциональные» структуры обнаруживаются и анализируются не только на уровне государств, социумов или социальных подсистем, но и на более локальных (социальных или региональных) уровнях и даже на уровне отдельных индивидов, в том числе в структурах сознания и бессознательного. Как отмечалось, в индивиде также есть своя, внутренняя «государственность», своя политическая и правовая система. В нем также есть (или, наоборот, отсутствует) свое «гражданское общество» – независимо от внешних проявлений, от того, входит ли данный индивид в какие-либо неправительственные структуры, проявляет ли он общественную активность и т.п. В индивиде есть свои гражданские свободы (или их нет); в нем может быть или отсутствовать своя свобода слова – не только в говорении вовне, но и в обращении к себе. В индивиде есть своя, персональная экономическая идентичность – принципиально не сводимая к его номинальному экономическому положению или участию во внешней (по отношению к данному индивиду) экономике. В нем есть своя социальная идентичность, которая также может отличаться от внешне заданных реалий социального положения, принятых в этом

плане определений и норм. В индивиде также есть не только его культура, но и свои персональные институты культуры, не только образование, но и своя личностная система образования. В индивиде есть свои особенности циркулирования информации, установления и поддержания внешних связей. Как уже отмечалось, здесь есть даже своя дипломатия, свои оборонительно-наступательные системы, разведывательные и силовые структуры...

Далее можно представить себе, какие непростые взаимоотношения могут быть между всеми этими социальными институтами и «институтами» личностными, причем как по горизонтали (в одном уровне), так и по вертикали. А кроме того перекрестно, например, между экономической идентичностью индивида и правовой системой государства, между массовыми повседневными практиками и индивидуальной моралью, между персональной культурой индивида и государственной системой образования... Полнота этой сложнейшей и многомерной матрицы, как уже отмечалось, принципиальна для осмысления и оценки идентичности – как социума в целом, так и каждой из его подсистем. Трудно предугадать, где в этих контактах завтра так заискрит, что потребуются противопожарные меры – а где возникнут перспективные, спасительные точки роста. Можно сколько угодно рассуждать о традициях российской государственности, но эти рассуждения останутся досужими без учета включенности современной России в мировую экономику или экономической идентичности, доминирующей на индивидуальных уровнях. Можно заниматься политическими проектами и партстроительством, но все это будет зависеть в воздухе без

учета социальной идентичности населяющих страну индивидуальных и коллективных субъектов (пример – партийные модели, которые по своей социальной идентичности должны были бы опираться на средний класс, но реализуются в условиях недоразвитости, зажатости и крайне плохой идентифицированности этого самого среднего класса). Можно без конца распространяться о российской духовности, о моральных основах общества, традициях совести и справедливости, но от всего этого будет нести лицемерием и цинизмом на фоне таких реалий нашей комплексной идентичности, как уродливая социальная структура, критическое имущественное и статусное расслоение, свернутая вертикальная мобильность, меркантилизм властей, доходность управления, политики и вообще всякого «служения». Иногда трудно отделаться от впечатления, что в обсуждении российской идентичности говорят исключительно на избранные темы специально, чтобы приглушить подобные ароматы.



Однако можно (а в условиях кризиса, тем более в преддверии еще более фундаментальных потрясений просто необходимо!) говорить об идентичности и в рамках совершенно другой – надличностной и надгрупповой – прагматики.

Такие интегративные сборки возможны, как правило, перед лицом тотальных угроз. «Против кого дружить будем?» – не только бытовая шутка, но и нечто вполне серьезное из социальной психологии, политических тактик и даже геостратегии.

Но «дружить» можно не только против других людей или стран, но и против неприемлемых перспектив. Объеди-

няющим началом обычно оказываются не проекты «правильного будущего» (которое у всех разное), а проекты исключения будущего заведомо «неправильного» – того, чего точно не хочет никто.

И то, что Россия поднимается именно перед опасными вызовами, в мире вовсе не уникально, хотя и сильно утрирует общее место истории.

Не случайно и то, что сверхинтегративные мировые максимы, как правило, построены именно на *системах запретов*. Заповеди не говорят, что делать – они говорят, чего делать *нельзя*.

Общество, самосознание которого пытаются построить на голом позитиве, на некритичной идеологии достижений, интегрируется лишь временно и частично. Если процветание больше наговорено, чем достигнуто, настроение может падать от сравнительно небольших тучек на розовом небе в алмазах. Такое морально-политическое единство обычно кажется нерушимым, но в критический момент неприлично рассыпается.

Общая угроза собирает более надежно. Заодно она проверяет и расслаивает людей по еще одному параметру: насколько они идентифицируют себя со страной в плане жизненной стратегии. Это совершенно разные прагматики: курс на эмиграцию, создание внешних «запасных аэродромов» на случай – или установка на борьбу за нормальную жизнь на *этой* территории и с *этим* народом. Не впадая в морализаторство, необходимо признать, что это разные идентичности, которые часто сразу не видны, но при желании читаются. Причем именно по прагматике.

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

Каждая из этих структурных составляющих комплексной идентичности имеет свою собственную сложную структуру. Так, политическая система страны прежде всего имеет более или менее определенную *номинальную идентичность* – то, как страна сама себя формально идентифицирует в политике (*самокатегоризация* режима). И уже на этом этапе самоопределения начинаются многочисленные разночтения и проблемы. Причем дело даже не в том, что разные субъекты по-разному квалифицируют существующие режимы: здесь в истории имеют место серьезные изменения, касающиеся самих оснований политической идентификации.

До недавнего времени идентичности политических систем обычно особых вопросов не вызывали. Конституционные монархии, как правило, были конституционными монархиями и по своей сути; самодержавие и было таковым, и идентифицировалось именно как самодержавие, так называлось и так понималось. Легитимация и режима в целом, и каждой смены власти в таких системах была (полагалась) трансцендентной, а потому не допускала посягательств манипуляций – даже с учетом царевубийств, дворцовых переворотов и самозванств, менявших персоны, а то и династии, но не суть режимов, сохранявших в этом смысле свою политическую идентичность. Даже нарушение династической преемственности основы режимов не меняло: царями становились, чтобы царями быть и царями же называться.

Народовластие предполагает регулярные, технически сложные процедуры легитимации режима в целом и каждой из сменяющих друг друга персонификаций власти. Это сразу создает соблазн и предрасположенность к имитации, манипулированию, суррогатам и т.п., то есть к раздвоению идентичности режима. На этом поле, наряду с относительно идентичными демократиями, возникает множество политических фикций, декораций и симулякров. В отличие от демократии, «богоданную» власть узурпируют не для того, чтобы изменить ее идентичность, а чтобы самому стать «богоизбранным» – в противном случае ее свергают *именно как режим*. Даже военные диктатуры могут не заигрывать с политической идентичностью и иметь адекватные самоназвания. Что же касается режимов, претендующих на статус народовластия, то это самоназвание за своими фасадами в изобилии плодит режимы, считающиеся демократически лишь номинально, а по сути являющиеся режимами псевдо- и квазидемократическими, авторитарными, диктаторскими или вовсе тоталитарными. Диктаторы и хунты, как правило, приходят к власти через выборы.

В новейшей истории Россия с лихвой испытала на себе последствия такого рода раздвоения политической идентичности. Советское «народовластие» на протяжении всей своей истории неоднократно меняло свою политическую идентичность, но идентичным собственно народовластию никогда не было. Начинаящие западные советологи, приступая к делу и читая нашу Конституцию, искренне не могли понять, чем этот народ политические недоволен. Мешала привычка к идентичности.

Эта проблема определения и соответствия политической идентичности до сих пор не снята, а в ряде отношений даже усугубляется.

Она усугубляется в том числе в связи с тем, что идентичная себе демократия является режимом, настраиваемым крайне сложно и тонко, а потому весьма хрупким. В этом отношении она аналогична (точнее, тождественна) правовым системам, построенным на жесточайшем и скрупулезнейшем следовании формальным процедурам, в которых, например, доказательства вины даже «самоочевидные» и стопроцентно убедительные, но добытые с малейшими нарушениями регламента и формы, не принимаются судами во внимание, то есть доказательствами не являются. Точно также оцениваются и идентичные себе демократии: например, требования избирательных процедур и правил должны быть соблюдены во всей их полноте – в противном случае победа оспаривается и не признается. Это как круговая оборона, даже небольшой прорыв в которой ведет к поражению. Или это как «приватизировать один километр государственной границы». Так, голосование может быть стопроцентным и даже подлинным, но оно ничего не стоит, если редуцированы возможности агитации, финансирования кампаний, партийного строительства, допуск к каналам информации и т.п. Это тем более справедливо, что политические харизмы явных претендентов – вещь, такая же хрупкая, как и сама демократия: порой достаточно не слишком больших возмущающих сигналов на информационном «входе», чтобы получить большие негативные, порой просто разрушительные эффекты на «выходе» обожания и веры.



В этом плане симптоматичной была попытка идентификации действующего политического режима в России как «суверенной демократии». Эта попытка показательна, во-первых, тем, что она была ответом на потребность в идеологической легитимации режима в той форме, в какой он на данный момент складывается, а во-вторых, тем, что этот ответ был транслирован из структур власти, из инстанции, считающейся ее идеологическим ядром (хотя и без отождествления с идеологией власти в целом и в высших ее эшелонах – то есть как сугубо авторский опус политического функционера).

В этом эксперименте во всем блеске проявилась одна характерная особенность идеологических построений такого рода и их восприятия в наших условиях. Попытка обозначить политическую идентичность режима сразу же сама столкнулась с расслоением собственной идентичности текста. Как это обычно бывает в политически «заряженных» концептах, в реальном восприятии смысла довольно быстро остались всего два слова, составляющие название идентифицируемого режима. Написанное автором как бы отделилось от вброшенного «лейбла», который тут же стал жить своей жизнью в оценках, интерпретациях и даже пересказах. Но в идеологических текстах как раз и важно прежде всего то, как именно они работают вовне, а не то, что они имеют в виду сами в себе, в представлении их авторов. Произошло радикальное *дробление и растаскивание смысла*. В самых разных толкованиях и повторах

под «суверенной демократией» стали понимать режим в стране, которая:

- сосредоточена на обеспечении суверенитета на собственной территории (подавление сепаратизма);

- выстраивает «вертикаль власти», освобождая ее от избыточного влияния олигархии;

- отвоевывает свои суверенные права на международной арене;

- строит демократию по своим лекалам и просит классические демократии по этому поводу не беспокоиться и в это строительство не вмешиваться и т.д.

Единственное, чего там не было (ни в тексте, ни в его толкованиях), это упоминаний о главном конституционном суверенитете – о народе как высшем источнике власти и в этом смысле – *единственном подлинном суверене*.

Как бы там ни было, из текста было вычитано (и «вчитано» в него, если воспользоваться термином Мандельштама) самое разное, порой взаимоисключающее. Но главная претензия все же сводилась к тому, что демократия сама по себе является понятием настолько общим и фундаментальным, что любые дополнительные эпитеты вызывают подозрения в ее искажении. (Поскольку определение есть ограничение, даже лингвистические определения в данном случае воспринимаются как симптомы ограничения демократии в жизни).

Дробление и растаскивание смысла на определенном этапе сыграло интегрирующую роль: текст трактовали как свой самые разные его интерпретаторы. Сработала характерная для такого рода ситуаций схема *интеграции через непонимание*.

Эта схема в полной мере работала в идеологии советского периода, когда одни и те же канонические тексты воспринимались по-разному в разных точках социального пространства и по-разному трактовались в разные периоды времени. Выявление разночтений такого рода всегда было надежно заблокировано. Нетрудно представить себе, какие трещины прошли бы в советском обществе, идеологически интегрированном на этих разночтениях, если бы политическим и социальным субъектам стали прозрачны сознания их контрагентов и они бы увидели, что в действительности эти контрагенты имеют в виду, когда озвучивают те или иные идеологические тексты.

Феноменологическая социология пыталась решить главный вопрос: каким образом общество интегрируется посредством того, что люди каким-то образом все же понимают друг друга. Но некоторые парадоксальные реалии идеологической работы и жизни показывают, что общество в не меньшей мере может интегрироваться именно *через непонимание*, через мутации смысла, причем как в социальном пространстве, так и в историческом времени. Исследуя такие ситуации впору говорить о своего рода *негативной герменевтике*, которая в равной мере продуктивна и в синхронных, и в диахронных контекстах. Марксизм по-разному понимался в разных точках социума и даже соцлагеря, что позволяло ему быть эффективно интегрирующей идеологией. Он весьма по-разному понимался в идеологическом отделе ЦК, прогрессивной партийной журналистикой, представителями «философии оттепели» (например, у диалектических станковистов) и идейно озабоченной твор-

ческой интеллигенцией, или, скажем, в рабочей среде, в системе партполитпросвещения. Достаточно разный марксизм исповедывался примерно в одно и то же время в СССР, в Китае или в бунтующей Франции. Но этот же марксизм весьма неоднозначно понимался и на разных этапах жизни советского общества. Можно утверждать, что на протяжении советской истории мы пережили несколько марксизмов. Европа в XX веке сменила ряд господствовавших политических философий, переходя от одной доктрины к другой, тогда как СССР все это время упорно перечитывал и переосмысливал одну и ту же философию. Идентичность «лейбла» сохранялась, но начинка активно правилась, что и обуславливало повышенные интегративные возможности такой идеологии.

Хотя интегративность такого рода может быть поначалу очень эффективной, в конечном счете она так или иначе оказывается весьма неустойчивой. В чем-то это напоминает российский способ ведения коммерческих дел, когда люди быстро и легко сходятся в начале предприятия, не проговорив все до конца и, по сути, сдружившись на *недопонимании* друг друга – а потом скандально, иногда со стрельбой, расходятся после вынужденного прояснения исходных позиций.

Нечто подобное произошло с марксизмом. Он не сменился в ряду других не менее достойных предшественников и преемников в идейном окормлении общества (как это бывает в спокойно «ротируемых» идеологиях), а именно обрушился: кто был всем, тот стал ничем. Причем во многом незаслуженно – если иметь в виду суть самой философии, а не способ ее трансляции и функционирования. Если

Делёз и Гваттари могут спокойно выносить термин «капитализм» как концептуальный даже в название книги, то в нашей философской и политологической лексике это слово вовсе перестали употреблять – если не считать закоренелых марксистов старой закалки и единичных случаев нормальных аналитиков. Типичная для нашего этикета ситуация: капитализм есть, а слова такого нет.

В идеологической миниатюре нечто подобное проявилось и в истории с «суверенной демократией»: после некоторых перестановок во власти активисты и интерпретаторы этой идеи, быстро сдружившиеся было под одной идеологической крышей, но с совершенно разными ее пониманиями, столь же быстро замятовали о своих недавних откровениях по поводу «национальной доктрины» и оперативно перешли к другой знаковой лексике.



На следующем уровне политической системы встает вопрос об идентичности ее составляющих, основных институтов, прежде всего ветвей власти.

Президентские структуры и правительство, то есть основа исполнительной власти, в целом соответствуют приписываемой им идентичности – хотя и здесь есть серьезные проблемы, о которых ниже. Но представительная, законодательная ветвь власти в силу ее повышенной зависимости от власти исполнительной уже соответствуют своей номинальной идентичности лишь отчасти. Верхняя палата является органом представительным лишь с большой долей условности по процедуре формирования, а также в силу назначаемости губернаторов. Кроме того, обе палаты пар-

ламента с известной долей условности являются законодательными органами, поскольку в ключевых ситуациях политические решения принимаются вовсе не здесь, а в системе исполнительной власти. Это реализуется и в рамках обычного административного обихода (депутаты, занимающие высшие посты в палатах, в простом общении нередко искренне идентифицируют себя как *чиновники*), и через выстроенную систему партийного представительства. И хотя представления об отсутствии у парламента какой бы то ни было сопротивляемости часто сильно преувеличены, в целом идентичность нашего законодателя как такового остается весьма специфической.

Тем самым до известной степени сдвигается и идентичность исполнительной власти: вместо того, чтобы исполнять законы, она настолько активно их творит, вносит и пробивает, что функция легислатуры оказывается здесь явно преувеличенной. В ряде случаев почти без преувеличения можно утверждать, что исполнительная власть в такой системе является одновременно и реальным законодателем.

Нечто подобное имеет место и в отношении других, оставшихся ветвей власти – судебной и «четвертой» (СМИ), независимость и самостоятельность которых также весьма условны, а в ключевых позициях и вовсе отсутствуют. Эти проблемы с мерами возгорающей, мерами затухающей активностью обсуждаются в обществе и даже получают официальное признание (например, проблема независимости судов). Однако вопрос об идентичности режима при этом остается если не открытым, то во всяком случае решаемым по-разному и неоднозначно. Либо это тот самый политиче-

ский порядок, который идентифицирован в Конституции и признается официальной риторикой – либо это какой-то другой порядок, идентичность которого не вполне установлена и пока не имеет общепризнанного названия, не говоря о системном описании. При решении этого вопроса полезно учитывать, что, как уже отмечалось, Демократия и Право являются достаточно строгими категориями и не предполагают «частичной беременности». Имеет смысл также учитывать, что понятие «управляемая демократия» содержит в себе не просто логическое противоречие и юридический нонсенс, но и по сути, в строгой интерпретации, вплотную приближается к конституционному преступлению: «управлять» демократией это то же, что давить на суд или подкупать присяжных.

Значимые проблемы с идентичностью есть и в нынешней партийной системе, причем как в целом, так и в отношении отдельных партий.

Первый вопрос, который здесь возникает: может ли идентифицироваться в качестве многопартийной система с одной безнадежно доминирующей партией (причем именно в той форме, в какой такого рода доминирование реализуется в наших условиях)? Вопрос этот не вполне риторический, и ответ на него не столь однозначен, как кажется. Особенно если учитывать, что такое доминирование достигается не только целенаправленной работой в области партстроительства и дизайна политической системы, но и благоприятной экономической конъюнктурой, способствующей формированию морально-политического единства Партии и народа. Первые же облака на горизонте экономи-

ческой стабильности подвигли пусть на ничтожные, но все же телодвижения в сторону диверсификации существующей партийности (например, имитация «правого крыла»). Можно предположить, что в иных социально-экономических обстоятельствах многопартийность может оказаться уже не столь имитационной – если, конечно, она не будет свернута более brutальными методами.

Как бы там ни было, можно отметить, как минимум, два обстоятельства:

- политический режим в части функционирования в нем партий претерпел в сравнении с 1990-ми годами принципиальные изменения, хотя в целом конституционный порядок остался прежним, а изменения в законодательстве носили в основном технический (хотя и очень техничный) характер;

- политическая идентичность такого режима или не вполне определена, или не афишируется; во всяком случае такого рода идентификации не выходят за рамки частной политологии и ее крайне узкой аудитории.



Вопросы с идентичностью возникают не только в отношении партийной системы, но и в отношении *системы партий*. Отдельные партии постепенно утрачивают свою особую идеологическую и политическую идентичность.

Уже на последних парламентских выборах с точки зрения акцентов, ориентированных на публику (и в основном до нее и дошедших), политическое пространство стало заметно более сжатым – и, соответственно, менее разнообразным. Прежде всего это относится к сблизившимся политическим флангам: в КПРФ стали выговаривать слова в

защиту бизнеса, СПС озаботился положением пенсионеров. На уровне предвыборных обращений к электорату рамка сузилась: правые полевели, левые поправились, все сдвинулось к центру¹⁸. А поскольку центр у нас собственной идеологии не имеет, все сдвинулось в сторону большей размытости позиций. К тому же и сам бывший центр в качестве такового себя больше не идентифицирует, поскольку в качестве *единой* (в прямом смысле этого слова) России претендует также и на электоральный захват обоих флангов.

При этом показательно, что политически вынятная идентификация (самокатегоризация) уходит и из названий российских партий (чего нет в странах с более-менее устоявшимися демократиями). Вместо социалистов и коммунистов, конституционных демократов и социал-революционеров, республиканцев и демократов, либералов, консерваторов, лейбористов и т.п., названия наших партий и объединений становятся все более политически бесполовыми («Единая Россия», «Справедливая Россия», «Солидарность», «Яблоко» и т.п.). Политиче-

¹⁸ Это явление можно отнести к закономерным эффектам стабилизации. В острых положениях радикальные позиции в программах партий более востребованы. Когда же период ожидания катаклизмов заканчивается, все, у кого возникает реальное ощущение или хотя бы иллюзия, что «жизнь налаживается», сдвигаются к политическому центру. (Кстати, сдвиг к центру может происходить, даже если «жизнь налаживается» благодаря идеям или действиям того или иного радикального фланга, например, праволиберального).

Парадокс в том, что на фоне этих тенденций затерялось само понятие центризма, столь популярное в партийной самоидентификации на парламентских выборах прошлых лет («Гражданский союз», затем «Единая Россия»). Теперь этот термин если не забыт вовсе, то в любом случае отошел на задний план. Причем это произошло даже в идеологических автопортретах тех партий, для которых центризм еще совсем недавно был едва ли не главной чертой политического образа.

скую идентичность в самоназвании сохраняют только коммунисты (если не считать «либеральных демократов», которые не имеют отношения ни к либерализму, ни к демократии, ни к чему-либо иному, кроме личности своего лидера). Даже «Правое дело» прячется за образ правоты.

Своего рода *конвергенция* происходит и на уровне партийных программ. Тому может быть много разных объяснений, но главным, как ни странно, представляется все то же воздействие баснословно благоприятной конъюнктуры на рынке сырьевых продаж. Когда появляется столь мощный ресурс для реальных сдвигов и изображения прорыва, для околораспределительного «распила» и социального «отката», когда во все это в той или иной мере втягиваются столь внушительные слои электората, выступления с жестко альтернативными программами становятся малоэффективными. Нефтяные деньги действительно подводят к некоторому консенсусу, но этот консенсус прочен только до тех пор, пока поток не иссякает. Более того, в условиях перегретых ожиданий проблемой может стать даже заметное снижение привычных темпов роста относительного благосостояния.

Но здесь мы можем столкнуться с «голландской болезнью» в политике. В экономике все просто: в условиях феерической нефтяной конъюнктуры сначала все выгоднее купить у других – а потом оказывается, что в плане производства уже нечего восстанавливать у самих себя. Вопрос в том, насколько теплое нефтяное одеяло задушило живую политику в России.

ВЕРТИКАЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Далее мы закономерно выходим на идентичность (комплекс идентичностей) в экономике и социальной сфере.

В последнее время вопросы экономической и социальной идентичности обсуждаются достаточно активно, но в основном применительно к личностному, персональному уровню, скорее психологами, отчасти социологами, но более концептуалистами, нежели эмпириками. Проблема экономической и социальной идентичности может затрагиваться на уровне групповых идентификаций (например, проблема *среднего класса*). Но применительно к социуму, региону, стране и т.п. эта проблема как таковая, то есть, в том числе и на метауровне, рассматривается уже не столь часто и куда менее рефлексивно.

Это по-своему понятно. Идентичность персонального субъекта, индивида, является предметом, изучаемым извне, например, все тем же социальным психологом. Когда же говорят о социальной и экономической идентичности, например, страны, то здесь уже сами исследователи – экономисты и социологи – оказываются активными субъектами выявления такого рода идентичности, ее генераторами и трансляторами, пропагандистами. Собственно, в качестве «мозга нации» они сами и есть носители этого экономического и социального самосознания. Естественно, менее всего рефлексии здесь у политиков, у ангажированных политической идеологов и экспертов. Трудно ставить диагноз, когда сам всем этим всерьез и давно болеешь.

В данном случае самое простое в выходе на предмет (но не самое простое в решении) – это определение и внятная квалификация *экономической и социальной идентичности страны*, ее социально-экономического режима, уклада, типа экономической активности государства, системы управления.

После обрушения системы тотального планирования, жесткого администрирования и централизованного распределения, вновь возникшая экономика получила общую квалификацию как *рыночная*. Но поскольку типология рынков достаточно обширна и разнообразна, особенности складывающегося в России рынка оказались идентифицированы весьма размыто и очень по-разному. Консенсус здесь найден так и не был, особенно в проектной, нормативной части проблемы.

Более того, поскольку реальная политическая конкуренция оказалась в целом свернутой, дискуссии о характере нового российского рынка (реально формирующегося или оптимального, желаемого) почти исчезли из политического обихода, из боевой идеологии, и осели в основном в специальной литературе или в программных документах политических маргиналов. Во всяком случае недавние яростные столкновения либералов и государственников заметно отодвинулись от центра внимания идентифицирующего себя общества. О том, какой рынок в России есть и будет, страна узнает теперь не от противоборствующих политических конкурентов, не от их идеологов и мозговых штабов, уличающих друг друга в незнании, доктринальных ошибках, а то и в продажности, не из сенсационных статей в зачитыв-

ваемых до дыр журналах, а из официальных источников, достаточно редко и скупо, без лишней проблематизации. Эпитеты при этом в основном позитивные: рынок этот «государственно регулируемый», «социально ориентированный» и т.п. Отрицательные, проблемные эпитеты в идентификации этого рынка почти отсутствуют. Негатива много, но все это трактуется не как сущностные характеристики складывающегося социально-экономического порядка, а как его отдельные проблемы, как девиации, как отклонения от заявленной базовой идентичности – но не как сама идентичность. Избыточное, удушающее регулирование и паразитарный окологосударственный бизнес, коррупция и административный террор, монополизм и государственное крышевание – все это идентифицируется как болезни, пусть запущенные и острые, но все же не как идентифицирующие, системные признаки складывающегося экономического порядка. Хотя в ряде случаев трудно отделаться от впечатления, что это уже сама болезнь говорит о своем заболевании, прописывает себе терапию и покушается на оперативные вмешательства.

Пожалуй, единственным системным признаком из негативных в официальной идентификации нашей экономики является так называемая *нефтяная игла* – зависимость от экспорта ресурсов и от импорта товаров и технологий. Но дело даже не в том, что разговоры про необходимость сняться с нефтяной иглы идут у нас с советских времен – и с равным успехом. Не менее важно то, что эта сторона нашей экономической идентичности практически не рассматривается в ее влиянии, порой решающем, на идентичность политическую,

социальную, социокультурную, даже характерологическую. В ином случае было бы более понятно, насколько системными, обусловленными и атрибутивными являются для нашего общества многие его хронические «девиантности». Неверно говорить, что это государство и это общество живут распродажей ресурсов. Наоборот, экономика распродажи ресурсов порождает соответствующее государство и соответствующее общество: власть, политику, социум, людей.



Целый ряд аспектов экономической и социальной идентичности может быть продуктивно перенесен с личностного уровня на более общие, в том числе на страновой, национальный.

Так, в *социально-экономической идентичности индивида* обычно выделяют: экономическую самокатегоризацию, оценку собственного делового потенциала, социально-психологическую адаптацию к экономическим процессам, экономическую социализацию, представления о богатстве и субъективную шкалу благосостояния, удовлетворение потребностей личности, удовлетворенность деловой и личной самореализацией, экономическим благосостоянием...

Все эти вопросы могут быть продуктивно обращены и к «стране», к ее общей социально-экономической идентичности, выражаемой, например, официальной идеологией.

Начать можно было бы с субъективной шкалы благосостояния. Какое место занимает Россия в списке стран мира, ранжированном по оси «богатство – бедность»? Насколько адекватны показатели и идентификаторы, которыми мы пользуемся при определении своего места в этой шкале?

В какой мере адекватны наши субъективные представления об этом местоположении в отношении объективно измеряемых параметров и сравнительных показателей? Эти вопросы не беспочвенны уже потому, что разные показатели дают основания для совершенно разных самооценок, тем более на фоне других стран. Разброс оценок нашего положения здесь примерно как между состоятельными, респектабельными гражданами и полунцими бедолагами. Достаточно разнятся и оценки динамики изменения этого интегрального благосостояния, темпов роста.

Поскольку, в отличие от собственно экономических расчетов, в данном случае речь идет именно об идентичности, т.е. в том числе о субъективной самооценке и самоощущении, здесь приходится иметь в виду два вида субъективности: а) выбор показателей и исходных данных (который может быть не только субъективным, но и просто предвзятым); б) субъективную оценку результатов, полученных на тех или иных показателях и исходных данных. Но в любом случае речь идет именно об отношении к ответу на поставленный вопрос, о переживании, об эмоциональном статусе. Политические, социальные и даже собственно экономические последствия такого рода умонастроений трудно переоценить. Если в одном случае граждане страны ощущают себя совладельцами вполне пристойного (по их понятиям) совокупного состояния, а в другом – обобранными страдальцами, прозябающими на задворках мирового экономического и социального развития, то можно с полным основанием утверждать, что при всех прочих равных и при совершенном тождестве объективных реалий это все же две достаточно разные поли-

тические, социальные и экономические, даже государственные системы. Соответственно, это совершенно разный потенциал общества и разные перспективы развития. Об этом необходимо говорить специально, поскольку многие проблемы нашей самооценки, прогнозирования и стратегического планирования, социальной и информационной политики, принятия конкретных экономических и социальных решений обусловлены тем, что гуманитарии (особенно рассуждающие о нашей идентичности) не занимаются экономикой, а экономисты регулярно промаргивают гуманитарные аспекты экономической жизни.

В данном случае приходится избегать обеих крайностей: чрезмерного самоуничижения – и необоснованного довольства положением и ходом дел. И то, и другое расслабляет. В первом случае руки опускаются, во втором не поднимаются.

В нашей ситуации эти настроения иногда напоминают то ли маятник, то ли контрастный душ. Девяностые годы прошли под знаком нагнетания истерики. При всех экономических и вытекающих из них социальных трудностях реальное положение все же не было столь катастрофическим, как это оценивалось экспертами широкого спектра воинствующих оппозиций и как это воспринималось общим умонастроением. Ситуацию усугубляла психологически понятная, но крайне опасная на тот момент идеализация предыдущего, дореформенного состояния. Здесь опять необходимо подчеркнуть, что стенания о «голоде» и ностальгия по времени «когда все было и недорого» исходили, в том числе и от тех, кто реально стал жить лучше, порой несравнимо лучше. Уже в начале девяностых автор этих

строк имел дело с людьми, которые, будучи настроены в отношении к происходившему более или менее лояльно, с жаром оспаривали тот факт, что перед началом реформ были (пусть недолго) талоны на сигареты. Талоны на выпивку они еще помнили, но тоже уже как-то без особого содрогания.

Такого рода эффекты восприятия психологически объяснимы. Но нельзя не признать и того, что в тот момент власть начисто проиграла идеологическую и информационную войну всему фронту оппозиции. Положение было чудовищным, но поскольку страна не очень знала, каким именно, она от души верила даже самым заполошным оценкам. Последствия известны. Такое умонастроение не могло не возбудить оппозицию на перехват «обанкротившейся» власти. А эта власть, не отстрелявшись в свое время на фронтах идеологии и контрпропаганды, потом отстреливалась уже из танков.

Похоже, эти уроки пошли впрок, но с перебором. Теперь граждане России не ощущают себя населением нищей, падающей страны – даже те, кто из нищенства не вышел и сам продолжает падать. В массовом восприятии остаются резкие вопросы по поводу распределения национального богатства, но не по его примерному общему объему («на всех хватило бы»).

Немалый вклад в это умонастроение внесли регулярные публичные оценки небывалых финансовых резервов, накопленных на случай и даже уже частично раскассированных на развитие, а теперь еще и на купирование кризиса. Это рождало в социальной среде (в ее так или иначе облагодетельствованной части) надежду на стабильность, ощущение запаса прочности – хотя и основанное не на сопричастно-

сти к устойчивому и продуктивному развитию, а на более простых, патерналистских резонах.

Этому умонастроению в большой степени потрафили также официальные прогнозы успешного развития, проекты вхождения в пул крупнейших экономик мира, амбициозные стратегические программы. А особенно прикидки по годам, когда именно качество жизни в России достигнет европейского уровня.

Естественно, здесь мы говорим только о самых общих, интегральных изменениях в представлениях о богатстве и самооценке в субъективной шкале благосостояния. Все это очень по-разному складывается в зависимости от положения в конкретных регионах, от принадлежности к тем или иным социальным стратам, наконец, от личных обстоятельств. Тем не менее, общие тренды прослеживаются и, более того, подтверждают график синусоиды. Уже первая фаза кризиса заметно скорректировала представления о стратегическом резерве, о том, какими темпами и с каким эффектом он может быть утилизирован, причем до дна.

Если взглянуть на колебания этой составляющей экономической идентичности с исторической дистанции, то скорости этих изменений окажутся чрезвычайно высокими. Принято считать, что история ничему не учит. Возможно, потому, что дает людям время через поколения многое забыть о себе и переложить ответственность на других. Но возможно также, что такие ускорения все же могут стать уроками, вызывающими к более аккуратному и осторожному обращению с собственной идентичностью, в данном случае экономической. Заблуждения и обманы теперь вскрываются слишком быстро.



Здесь мы выходим на другую составляющую социально-экономической идентичности – на самооценку делового потенциала, в равной мере важную как для индивида или компании, так и для страны в целом.

Строго говоря, прогнозы, проекты и программы уже косвенно дают представление о такой самооценке. Здесь также есть опасность завышенных ожиданий. Нередко считается, что излишняя смелость планов не мешает – особенно если она помогает в политическом пиаре. Но в деловой сфере крайне важна именно адекватная оценка собственного потенциала развития. Она предостерегает от ошибочного распределения ресурсов (на пятьсот баков рванул, как на десять тысяч...), от втягивания в заведомо неподъемную конкуренцию, от срывов, обваливающих и самооценку, и деловую репутацию. Правда, когда такие срывы намечаются в стране, всегда остается возможность списать все на врагов, внутренних и внешних. Но это худший вариант: образ врага убедителен, только если с ним реально воюют. Поэтому так важны адекватные оценки реального потенциала развития экономики, научно-технической сферы, сырьевого потенциала, социального блока и т.п. Расхождения между идеологией и прагматикой здесь неизбежны, но они не должны быть критичными. В противном случае за временные, сиюминутные выигрыши завтра придется платить несоизмерную цену.

Кроме того, неадекватные представления о богатстве и потенциале способствуют сдерживанию, а то и свертыванию назревших преобразований. В результате временно

достигаемая экономическая социализация оказывается крайне непрочной, поскольку зиждется скорее на распределении и потреблении, чем на производстве и собственной активности экономических субъектов. Потенциально активная часть общества временно смиряется с низкой оценкой самореализации (во-первых, терпимо, а во-вторых, бесполезно выступать). Свертывание вертикальной мобильности в экономике, в административной среде и в политике помимо явной, но мало кого интересующей несправедливости ведет к загниванию системы, к возникновению *социальных пролежней*.

Однако эти рассуждения оказываются разговорами в пользу богатых, пока не ставится вопрос об инструментах, каналах, процедурах и участниках, задействованных в формировании такого рода идентичности. Если в обществе обнаруживаются те или иные проблемы с интегральной идентичностью, выкрики о том, какая идентичность правильная, могут быть героическими, но малопродуктивными: надо менять саму «машину» формирования идентичности, технику выхода на самосознание общества.

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК СУБСТАНЦИЯ И КАК ИНСТИТУТ

Итак, идентичность это внутреннее, собственное состояние субъекта – единство его самосознания, самооценки, самоощущения и самочувствия. Это состояние формируется под воздействием множества самых разных, порой разнонаправленно действующих факторов. Люди меняют свою идентичность и «по жизни», и в зависимости от того, что им *говорят*. Причем в этом говорении участвуют не только другие субъекты, но и сама реальность – объективные обстоятельства, в которые люди попадают, изменения в положении других связанных с ними субъектов и т.п. Все, что происходит вокруг субъекта, это сплошная речь, формирующая его идентичность и определяющая векторы ее изменения¹⁹. Субъект постоянно находится в поле воздействия множества текстов, одни из которых в отношении его идентичности пассивны, другие – активны.

Пассив здесь не означает слабости воздействия. Когда человек из газеты узнает о смерти богатого родственника, которому он наследует, его идентичность уже меняется, в

¹⁹ Здесь проявляется двойственность самого понятия идентичности, присутствие в нем разных и даже взаимоисключающих смыслов. С одной стороны, под идентичностью нередко понимают то, что в субъекте устойчиво, что сохраняется при всех изменениях. Тут идентичность понимается как собственное ядро субъекта. Но в то же время, в процессе изменений субъект в каждый момент времени сохраняет свою моментальную идентичность как тождество с самим собой, как последовательность состояний, образующую более или менее понятную дискретность процесса. Это не путаница в понятиях, а парадокс, каких в понимании идентичности немало. Далее эта ситуация будет рассмотрена специально.

известных ситуациях – весьма кардинально. Также его идентичность может быть изменена, когда он узнает о разорении человека, с которым он статусно конкурирует, пусть даже только мысленно (например, может произойти изменение его самооценки в субъективной шкале благосостояния). Но такого рода тексты-сообщения не являются специально направленными на изменение чьей бы то ни было самооценки. Если в случае с наследством сообщение о смерти богатого человека еще как-то можно рассматривать в том числе и как послание потенциальным наследникам об изменении их статуса (хотя и с очень большими оговорками), то нормальная информация о разорении конкурентов вовсе не преследует цели поднять самооценку его соперников и завистников.

Наряду с этим множество текстов обращены к человеку именно и только с тем, чтобы специально, целенаправленно воздействовать на его идентичность, изменять ее в желаемом направлении (например, когда человеку говорят, что он финансовый гений или, наоборот, экономическое ничтожество, при этом вовсе не имея и не сообщая никакой информации об изменении его реального экономического положения).

Примерно то же самое может проделывать и сам субъект, воздействуя на свою идентичность – занимаясь критическим самоанализом, воспитывая себя, «формируя свою личность», в том числе лестью или самоуничижением и т.п.

Таким образом, идентичность приходится рассматривать и как «реальность в себе» – и как предмет выявления посредством анализа или целенаправленного воздействия.

Однако здесь обнаруживается одно весьма значимое различие в идентичности индивидов и общностей, причем значимое не только теоретически, но и практически, для понимания некоторых не всегда осознаваемых, редко афишируемых, а часто даже скрываемых обстоятельств наших рассуждений об идентичности социальной, этнонациональной, государственной и т.п. В этом отношении может оказаться небезынтересным некоторое, на первый взгляд, достаточно отвлеченное рассуждение.

Когда мы говорим об идентичности индивида, мы примерно понимаем, на какой *субстанции* эта идентичность реализуется. В разных контекстах здесь говорят о самосознании конкретного человека, его психике, Эго и т.д. Когда же говорят об идентичности какой-либо общности – этноса, нации, народа, страны и т.п. – сразу возникают вопросы в отношении субстанции, которая могла бы быть носителем такого рода идентичности. И дело не только в сложности представления некоего коллективного духа или общего самосознания, но и в более простой логике. Так, в утверждении, что китайцы простодушны, а русские хитры, главная проблема иногда даже не в правильности интегральной оценки, а в том, что такое суждение опровергается уже наличием известного числа простодушных русских и хитрых китайцев. Точнее, такое высказывание допустимо в качестве некоторого усредненного и в этом смысле условного, но никак не субстанционального суждения. Если идентичность индивида можно помыслить как реальную и вполне определенно локализованную целостность, то идентичность любой общности – это всегда жесткая абстракция,

нечто статистическое и в этом смысле искусственное, как «средняя температура по...». И чем масштабнее общность, тем больше в ее идентичности абстракции и условности. Повышая уровень общности, мы все более теряем в конкретных определениях идентичности. В пределе, говоря о человечестве, мы оперируем уже и вовсе ограниченным набором идентификаторов.

«Заглянув в себя» индивид может попытаться более или менее непосредственно лицезреть свою идентичность, переживать ее, пытаться изменить. Но как только речь заходит об общности, сразу возникает фигура *посредника*, а с ним и масса опосредствующих инструментов, техник, процессов. Идентичность общности как таковая, субстанционально, нам дана только в текстах. Причем в политически значимых ситуациях особую роль играют даже не сами *тексты идентичности* (например, национальная литература, материальная культура, уклады, быт и т.п.), а именно *тексты об идентичности*, своего рода дидактика, а по сути – идеология. Если же говорить именно об идеологии и политике (а именно в этих контекстах обычно актуализируются дискуссии о той или иной коллективной идентичности), то, чтобы не вдаваться в онтологические споры, полезнее сразу признать, что идентичность общности в таких контекстах – это всегда не более чем *высказывания* об этой идентичности. Причем высказывания конкретных субъектов, имеющих определенные интересы, преследующих определенные цели и использующих при этом те или иные технические или институциональные возможности. Поэтому если идеология это не только система идей, но и систе-

ма институтов, то *идентичность общности это также не только ментальное и духовное состояние, но и своего рода институт*. Точнее, составляющая многих институтов. Ее воспроизводят, ее формируют, ее изменяют. Во многом она формируется спонтанно, но этой спонтанности в обществе противостоит достаточно мощный инструментарий, действующий по определенным правилам и даже в рамках права, установленной законосообразности, в сложившихся практиках правоприменения.

Более того, институты идентичности в целом ряде случаев являются *государством*.



Пожалуй, впервые человек сталкивается с этим институтом в системе воспитания и образования. С рождения его воспитывает семья, которую, в свою очередь, воспитывают многие желающие, по праву и без права.

В том числе его воспитывают, рассказывая про его этническую, национальную, социальную и т.п. идентичность. Самое простое и убедительное в этом плане – уроки истории или обществознания в школе. Здесь будущему гражданину напрямую рассказывают о его национальной идентичности, внушают представления об идентичности страны, государства, в котором он живет, о его социальном и политическом статусе (возможных статусах).

Здесь сразу же возникает довольно острый вопрос: если школа все это рассказывает учащимся, будущим гражданам, то *кто именно* все это рассказывает школе?

Это «кто?» имеет, как минимум два аспекта: а) кто конкретно – какие люди, представители каких инстанций;

б) в каком качестве и на каких основаниях, в том числе организационных и правовых?

Если предположить, что решения здесь принимают «просто» авторы методического пособия или учебника и чиновники Минобрнауки, то такое предположение, во-первых, крайне неприятно по сути (один из сильнейших инструментов трансляции и формирования национальной идентичности оказывается в руках достаточно случайных персонажей и практически вне общественного контроля); во-вторых, заведомо неверным (допущение, что столь ответственные решения остались на этом уровне без контроля и директив сверху, является фантастическим); а в-третьих, в определенном смысле криминальным (государственная идеология в России прямо и без обиняков запрещена Конституцией, а такого рода тексты в реальности всегда насквозь пропитаны идеологией²⁰).

Не менее остро стоит такого рода вопрос в отношении СМИ, прежде всего ТВ. Многие телепередачи на каналах, имеющих государственный статус, уже откровенно являются идеологическими, причем даже те, которые, казалось бы, и вовсе не должны касаться вопросов политики и идейных мирских противостояний²¹.

²⁰ Строго говоря, в системе образования идеология сплошь и рядом присутствует отнюдь не только в учебниках истории или обществознания. Достаточно привести пример биологии с потенциальным и уже назревающим конфликтом между эволюционизмом и креационизмом. Более того, здесь уместно вспомнить одного выдающегося организатора идеологической работы, который с большим знанием дела утверждал, что ему хватит задачника по арифметике, чтобы вложить в него (и через него) все основные идеологические содержания.

²¹ Вот только несколько лексических оборотов из утренней передачи пас-тры на Первом канале российского телевидения, записанные в порядке

Более идеологичными становятся и официальные тексты лидеров, руководителей страны. Президентские послания Б. Ельцина не злоупотребляли идеологическими сюжетами, но зато были документами оперативного управления, поскольку содержали множество вполне конкретных поручений. Ссылки на Послание широко использовались в аппаратной работе, когда надо было продавить то или иное крупное решение. Послания В. Путина стали существенно более идеологичными, но и менее операциональными (возможно, в том числе и потому, что в перерыве между зачитыванием обращений к Федеральному Собранию» второй президент РФ имел возможность более плотно руководить процессом).

То же относится и к документам стратегического планирования. Идеологизация разного рода средне- и долгосрочных программ развития достаточно очевидна; более того, даже прагматически значимые контексты все более оказываются подчинены идеологии. Вопреки иллюзиям строгости расчетов здесь *настроение диктует цифры*.

эксперимента ровно за десять минут: «общественное сознание», «мировая экономическая конъюнктура», «цены на энергоносители», «правильный анализ истории», «нереалистичный образ своей страны и своего народа», «пытается себя позиционировать», «не имеет права говорить от лица народа», «уровень представительства», «одергивать тех, кто несет бред с экрана», «тех, кто создает ложный образ нашей страны и нашего народа», «развитые институты гражданского общества», «страшные потрясения 90-х», «базисные ценности народной жизни»... Здесь не обсуждается идеологическая направленность данной проповеди, в чем-то на удивление прогрессивной, либеральной и даже почти фрондерской, а в чем-то и патриархально-консервативной и в этом самой себе противоречащей. Важнее сам факт наличия в СМИ такого текста. Не говоря уже об размытой, сдвинутой идентичности институтов, о которой говорилось выше.

Не будет преувеличением сказать, что мы наблюдаем стремительную институционализацию идеологии. Идеология обретает свои инстанции. Особенно если учесть, что, помимо собственно идеологических сюжетов, во всех этих текстах образования, СМИ, официальной власти и т.п. всегда присутствует еще и скрытая, латентная идеология, которая при желании и с применением грамотных техник всегда может быть выявлена, аналитически реконструирована.

В итоге наша «идентичность» все более оказывается в хороших руках, под контролем и не без доброго влияния. В этом смысле для самоанализа и самооценки важна не только идентичность-сознание, но и сама «машина», эту идентичность формирующая поверх объективных, житейских воздействий. Более того, эта «машина» сама является важной чертой в образе идентифицирующего себя общества.

...И все это происходит в стране, в которой огосударствление идеологии прямо запрещено Конституцией!

Вопрос в том, как в этой коллизии сочетаются нарушения Конституции, с одной стороны, и упрощенные трактовки конституционной нормы – с другой.

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ НАШЕЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Почти вековое засилье советской идеологии, казалось, выработало в российском обществе устойчивый иммунитет ко всему идеологическому. Выход из коммунистического проекта воспринимался в равной мере как процесс департизации и деидеологизации. При этом деидеологизация понималась не только как освобождение от монополизма государственной идеологии и диктата конкретной идеологической системы – речь шла об освобождении от идеологии как таковой, вообще и навсегда. До сих пор у нормального постсоветского интеллигента при слове «идеология» рука тянется к тяжелым предметам. (Что, тем не менее, не мешает, например, дискуссиям об идентичности, претендующим как на научность, так и на явно идеологический статус).

Такому отношению к идеологическому немало способствовал и сам марксизм, представивший идеологию как *ложное сознание*. Идеология здесь понимается как выражение и навязывание отдельными, как правило, господствующими социальными группами своего частного группового интереса как интереса всеобщего. Идеология в таком понимании – прежде всего *сознание для другого*, средство обработки мозгов, всегда предполагающее наличие вектора и пары: активного субъекта-идеолога и относительно пассивного объекта манипулирования сознанием. В пределе – вождя и массы.

Соответственно, идеология, согласно этой схеме, преодолевается, с одной стороны, в бесклассовом обществе, где не будет необходимости манипулировать сознанием угнетаемых, а с другой стороны – «научной философией», опирающейся на объективные законы развития, поверяемые живой исторической практикой. В философии и идеологии собственно марксизма понятие «идеология» в положительном смысле практически не употребляется. Марксизм как философия был призван раз и навсегда победить идеологию, что он виртуозно и проделывал – с некоторыми своими современниками.

Однако в советском обществе (и в социалистическом лагере в целом) судьба марксизма как философии и идеологии оказалась в этом смысле парадоксальной. Подобно тому, как государство при социализме должно было отмирать, проходя период всемерного укрепления, идеология освобождала общество от деформирующего давления на сознание через стадию установления своего полного господства. Парадоксально, но именно «научная идеология» присвоила себе миссию в режиме ручного управления руководить позитивной наукой на основе умозрительных, политически заряженных постулатов. При этом как раз «научность» (то есть претензия на все ту же неопровергаемую истинность) послужила обоснованием самых ненаучных теорий, экспериментов и практик.

Более того, именно в марксоидных обществах идеология господствовала не только как система идей, но и как *система институтов*. Критерии идеологии были высшими в принятии государственных, политических, социальных и,

казалось бы, сугубо экономических, производственных, даже инженерно-технических и технологических решений. Идеология была институционализована в сложной иерархии, в том числе в форме идеологических отделов ЦК, что по типу управленческой иерархии превращало подчеркнуто светские, секулярные государства в очень близкое подобие государств религиозных (партия как церковь и как правящий орден). Генсек неизменно преподносился и как идеолог²²; секретарь по идеологии был вторым человеком в государстве. Общеизвестно, что задачам идеологической обработки сознания были подчинены все соответствующие институты: системы образования, политпросвещения и пропаганды, СМИ, искусства и архитектуры, организованной социальной жизни, а по сути – и всех других практик, ориентированных на работу с сознанием. Но при этом идеологической обработкой сознания (то есть формированием идейной составляющей общества) в полном объеме занимались также и вовсе не идеологические институты и практики – армия, больница, социальное регулирование и вспомоществование, системы безопасности, правозащиты и наказания, институты науки и технической деятельности и т.д. и т.п., включая хозяйственную деятельность и собственно материальное производство. В определенном смысле результатами активности этих институтов были даже не столько безопасность, здоровье, законопослушание и зако-

²² В период расцвета застоя готовилось решение о том, чтобы в официальной и «научной» литературе впредь называть Маркса, Энгельса и Ленина не классиками, а основоположниками. Статус классика обосновался для Генсека (генсеков).

нопорядок, знание, техника, товары народного потребления или какие-либо еще продукты интеллектуального либо физического труда, сколько *советский человек* – правильно политически ориентированный, надежно идеологически подкованный и воспитанный в духе нужных социальных инстинктов и реакций (М. Рыклин). За исключением отдельных ситуаций идейно-воспитательный процесс был здесь сплошь и рядом много важнее практического результата той или иной деятельности. Ровно по классику нашей литературной советологии: «Причем тут борщ, когда такие дела на кухне!?».

На излете советского периода идеология пережила глубокий кризис, который, в свою очередь, был частью системного кризиса общества. На месте идейных высот образовались провалы. Этот типовой эффект перехода из крайности в крайность можно назвать *самоубийством через гипертрофию*. То же, что и с идеологией, произошло с советской государственностью и имперской конструкцией, с традиционным для России отношением к власти, а также с социальными, коммунально-общинными традициями. (Ниже этим метаморфозам нашей идентичности будет посвящен отдельный параграф).

Идеология одновременно и стоит в ряду этих исторических перевертышей, и занимает в нем особое место. Если этатизм, имперскость и коллективизм имели как противников, так и сторонников, то энтузиастов восстановления государственной идеологии как таковой почти не оказалось. Либеральная власть старалась строго следовать ей же введенному конституционному запрету на огосударствление

идеологии. Те же, кто в случае прихода к власти несомненно попытались бы в полном объеме восстановить традиции и структуры государственной идеологии, саму эту идею в общем виде не пропагандировали, поскольку подходили к вопросу строго избирательно: государственная идеология возможна, но только если это будет *наша* идеология. В результате деидеологизация в сложившейся политической конъюнктуре выглядела практически безальтернативной. Здесь проявилась своего рода ирония истории: обрушение идеологии марксизма на какое-то время обернулось торжеством его же антиидеологизма, направленного против политического носителя самой марксистской идеологии. Идеократия выродилась в идиосинкразию.

Поэтому не случайно судьба всего идеологического комплекса с самого начала нынешних преобразований оказалась в крайне сложном положении.



Однако эта картина вовсе не однозначна как в свете реалий массового сознания, так и с точки зрения общей теории идеологии и конкретного анализа идеологических процессов. Прежде всего, здесь имеет смысл освободиться от ряда распространенных иллюзий.

Иллюзия первая: «Мы отменили старую идеологию».

На самом деле, на этапе массовой деидеологизации были отменены: государственная монополия на производство, интерпретацию и распространение идеологии, основные практики контроля и идеологических репрессий, официальная идеологическая символика. Кроме того, идеология была демонтирована все же более как официальная риторика

ка, как совокупность специализированных политических институтов и символов, чем как глубоко укорененная система идей и представлений. В сознании общества и в коллективном бессознательном, в толщах социальной жизни, в стереотипах индивидуального и массового поведения – везде остались глубокие метастазы. Дело в том, что многие марксоидно-лениноидальные, типично советские «очевидности» люди не связывают с этой конкретной идеологией, считая их нормальными, естественными и извечными представлениями и нормами. Во многих штампах, кажущихся общечеловеческими, многие из нас на самом деле до сих пор благоверные марксисты-ленинцы.

Далее, идейная демобилизация – не издание декрета о роспуске идеократии, а долгая, тяжелая работа – интеллектуальная, нравственная, организационная, политическая. У нас же сделали, как всегда: с людей сняли униформу, но не отучили ходить строем, а идеологическое оружие роздали желающим, в том числе разного рода теоретизирующим бандформированиям. В результате на идеологическом фронте появились позиции, не укладывающиеся в рамки не только нормальной идеологической работы, но и хоть сколько-нибудь цивилизованной идеологической войны. В нашем идейном зоопарке постепенно оказались собраны все виды, включая самые отвратительные. Здесь до сих пор о своих же доморощенных идеологических противниках часто изъясняются в лексике, достойной самого изуверского внешнего врага.

Иллюзия вторая: «Идеология это ложное сознание, которое отменить можно».

Как уже отмечалось, подобное в проектах деидеологизации навеяно той самой идеологией, которая без лишних затей противопоставляла «ложному сознанию» знание «истинное», якобы свободное от искажающей идеологичности. Но уже в интеллектуальной ситуации второй половины XX века эта жесткая альтернатива выглядела безнадежно устаревшей – даже в отношении философий, критерием истинности которых признавалось не безупречное построение теории, а историческая практика. Оказалось, что такая практика сталкивается с обычными «убивающими» контрфактами, со столь же историческими пересмотрами и переоценками, как и в позитивной науке. Особенно ярко это проявилось в России, в которой, как нигде, начудило именно «научное» мировоззрение, в итоге оказавшееся одним из самых предвзятых и утопичных.

Идеология – это *Вера в упаковке Знания*. С акцентом на *Знании*, но в реалиях *Веры*. Как только какое-либо знание становится убеждением, системой взглядов, стимулом к объединению и действию, всякая «истина» начинает жить по совершенно особым законам и критериям – по законам и критериям идеологии. В этом смысле идеология неустранима. Непрерывно поддерживать себя в состоянии снимающей идеологию жесточайшей, бескомпромиссной рефлексии невозможно даже просто физически (чем-то это напоминает неизбежное снижение концентрации в спорте, например, в теннисе или бильярде). И как только человек, общность или общество сподабливаются, ослабив критику,

во что-либо уверовать, автоматически возникает идеологическая ситуация и само *идеологическое*²³.

При этом, как уже отмечалось, если идеологии нет там, где мы привыкли ее видеть, это не значит, что ее более нет вовсе. В том числе необходимо также иметь в виду не только рационально оформленные, вербальные, дискурсивные формы идеологии, но и ее скрытые, вытесняемые, латентные формы, включая своего рода *идеологическое бессознательное*. Идеология сплошь и рядом более эффективно транслируется именно через образы, через средства управления настроениями, через эмоциональные каналы, подсказки действий и т.п. Причем это не обычная «социальная психология» и не простое вытесненное рацию, а именно *идеологическое* бессознательное, заставляющее человека вести себя так, *как если бы* он исповедовал определенные *взгляды*, имел определенные идейные *понятия и представления*, был носителем определенных идеологизированных *убеждений*. В отличие от обычных социально-психологических эффектов, такие понятия и представления могут быть рационально реконструированы внешним наблюдателем-аналитиком и описаны в виде идеологии, «стоящей за кадром». Иными словами, человек может быть

²³ Строго говоря, это имеет место и в науке, аксиоматика которой и составляет ее идеологию (не говоря уже о мировоззренческих предпосылках, которые увязаны с позитивным познанием, хотя при этом часто не отслеживаются). История попыток выйти на свободное от идеологии (в этом смысле слова) познание закончилась в XX веке, с крушением *третьего позитивизма*. Правда, в самой метанауке, как правило, обходятся без описания этой проблемы в терминах идеологии. Нам же здесь важно именно такая терминология, поскольку она позволяет увидеть тренды, объединяющие, например, позитивное познание и социальную практику.

убежденным носителем идеологии, которую он вербально просто не выговаривает²⁴.

Кроме того, в XX веке ряд фундаментальных методологических проектов показал, что эффект «теоретической веры» до конца не устраним даже из точной, позитивной науки, не говоря уже о знании гуманитарном и социальном. После афронта, случившегося со светлой идеей «наука – сама себе философия», постпозитивистская методология относится к «идеологии внутри науки» не просто терпимо, но как к важной составляющей выработки, оформления и передачи знания. Неопределяемые понятия и базовые эмпирически не верифицируемые постулаты не могут быть элиминированы из теории в принципе, каким бы логическим и «логичным» позитивизмом такие проекты ни обосновывались.

Что же касается *постнеклассической науки*, то ее вынужденный диалог с обществом оказывается и вовсе идеологичным в самом банальном смысле этого слова. То же относится и ко всем вновь обнаруженным и постоянно пополняющимся гуманитарным, социальным, правовым, этическим и т.п. аспектам производства и утилизации знания.

²⁴ При этом с точки зрения поведенческих эффектов на определенном этапе не так важно, совершают ли массы какие-либо социальные движения и действия под воздействием вербализированной идеологии или же идеологического бессознательного. Но при этом нельзя также не учитывать, что, втягиваясь в ту или иную социально-политическую бихевиористику, субъекты вырабатывают и предрасположенность к принятию соответствующих идеологических конструкций и в рациональной форме. Иными словами, если идеи могут рождать сильные эмоции и действия, то и наоборот, сильные эмоции и действия формируют определенную идеологическую предрасположенность, готовят обустроенное «место» под соответствующие идеологемы.

На этом фоне идея изъять идеологию из общественной жизни и естественного, повседневного оборота сознания выглядит и вовсе утопичной.

Наконец, любой антиидеологизм при строгом рассмотрении сам на поверку оказывается идеологией, часто весьма развернутой и основательно рационализированной.²⁵

Отсюда также вытекает необходимость более внятной интерпретации и своего рода идеологического обоснования введенного у нас *конституционного запрета на огосударствление идеологии*. Общество должно иметь на этот счет развернутые и внятные понятия и обоснования, а не лапидарные тезисы, текстуально переведенные в законодательные, конституционные нормы. Но такие обоснования сами по необходимости окажутся идеологией – в данном случае *идеологией деидеологизации*. Такие парадоксы, как известно, разрешаются введением метаязыка. Но такого рода метаидеологией надо специально заниматься, причем не только в форме концептуальных упражнений.

Наконец, из такого конституционного обязательства многое вытекает для идеологической жизни на частном («партийном» и «партикулярном») уровне. А именно: критерии для размежевания идеологий, лояльных в отношении данных норм и метаидеологических принципов, и идеоло-

²⁵ Здесь просматривается аналогия с теорией определения в логической семантике. Вопреки расхожим представлениям, логические определения не дают семантической полноты, поскольку неизбежно впадают либо в дурную бесконечность, либо в порочный круг, когда термин в конце концов определяется сам через себя. В составе каждой теории неизбежно обнаруживаются базовые неопределяемые термины, которые чаще всего и оказываются свернутыми носителями идеологии теории.

гий, по сути своей антиконституционных, присутствующих в сфере идеологически легального только по недоразумению. Иначе в стране начинают открыто пропагандировать авторитарные, тоталитарные, фашистские и т.п. идеи, тут же стенают об ущемлении свободы слова, нехватке эфира, моральном прессинге... и порой встречая при этом либеральное сочувствие.

Иллюзия третья: «Идеология – это вредное сознание, которое отменить нужно».

Здесь опять проступает знакомый образ идеологии как средства одурманивания одних другими в целях оправдания отношений господства, власти и подчинения.

Однако представление об идеологии исключительно как о «сознании для другого» не учитывает не менее развитых практик *внутреннего диалога*, диалога с собой, когда индивид выступает одновременно и идеологом, но и объектом идеологической обработки. Такое сплошь и рядом имеет место, когда человеку необходимо идеологическое (рациональное, моральное, функциональное и т.п.) обоснование его же собственных действий или положений, когда он активно, порой изошренно «обрабатывает» собственное сознание. Такого рода индивидуальная потребность во внутренней рационализации в полной мере распространяется и на социальные группы, фрагменты массы и общество в целом. При этом провести четкую границу между рационализацией «истинной» и идеологическим заблуждением оказывается крайне трудно, а в теоретическом смысле – невозможно. Желание ампутировать такие практики так же утопично, какими бы похвальными мотивами оно ни вызывалось.

Кроме того, без идеологии, нравится нам это или нет, немислимы многие базовые институты общества и государства.

Без идеологии не только не воюет, но и в мирное время разлагается *армия* – какие бы средства в нее ни вкладывали и какую бы палочную дисциплину в ней ни насаждали.

Школа без идеологии не может даже разлагаться: в учебных текстах она неизбежно воспроизводит суррогат государственной идеологии, даже если у самого государства этой идеологии нет и в проекте. Более того, даже если снять все откровенно идеологические высказывания, скрытая, латентная идеология проявится в самой фактуре текста – в корпусе имен и событий, примеров и иллюстраций (экземплификация), в повествованиях и интерпретациях (нарративы), наконец, в построении заданий. Кстати, последнее в отличие от многих нынешних интеллектуалов хорошо понимал Жданов, не без оснований уверявший, что для внедрения идеологии ему достаточно задачника по арифметике. Возможно, в математике сейчас идеологическая (и даже просто воспитательная) составляющая и в самом деле элиминирована – хотя воспитательные эффекты от «деления яблок» все же остаются. Однако уже в преподавании самой обычной биологии зазор между дарвинизмом и креационизмом является сугубо идеологическим и на практике выводит именно на идеологические инстанции, даже если таковые себя в качестве идеологических не идентифицируют.

Таким образом, деидеологизация требует, чтобы ее осуществляли хотя бы так и в той мере, как и в какой мере это вообще возможно. И не изображали идеологическое целомудрие там, где, на самом деле бурлит, пусть не всегда здо-

ровая, но зато регулярная, активная, а главное неискоренимая идейная жизнь. «Отмена идеологии» – модернистский проект, еще в прошлом веке устаревший даже в качестве чисто интеллектуальной задачи. Более того, как уже отмечалось, неидеологизированные режимы сами нуждаются в обосновании: не обустроенный в идейном плане мировоззренческий либерализм вызывает подозрения в концептуальном бесплодии, а опустевшее место в сознании общества тут же занимают любители централизованного идеологического «окормления».

Таким образом, к идеологии иногда приходится относиться несколько более спокойно, с метапозиции. Скажем, как Будда, которого пытались соблазнить, но который был настолько отрешен от мира, что... взял и соблазнился.

Что же касается запрета на огосударствление идеологии, то он нуждается в развернутом комментарии и построении такой модели идеологической жизни, которая этому запрету реально соответствовала бы, а не уводила идеологическую активность власти в тень.



Отношение к идеологии и процессам деидеологизации может быть неоднозначным и в оценочном плане.

Положительные следствия начального этапа деидеологизации были очевидны: отмена цензуры (как института, так и самих практик «прореживания дискурса»), вспышка острейших концептуальных полемик. В культуре, в экономике и хозяйственной жизни стало много меньше идеологически мотивированного абсурда. В интеллектуальный обиход страны были возвращены целые пласты мировой и отечественной мысли. Это особенно важно, если учесть,

что идеология работает не только тем, что в обществе говорится, но и тем, о чем стратегически умалчивается, чего «нет». Причем такого рода красноречивое молчание и насыщенные пустоты важны не только в корпусе текстов: *идеологически несуществующее* может быть и текстами, и реалиями. Соответственно, вместе с идеями в это время были выведены из идеологического небытия и целые пласты проблемной, плохой действительности. Идентичность не только «сшивают» – ее еще и «вырезают».

Вместе с тем, деидеологизация, бывшая одновременно и спонтанной и организованной, тут же породила ряд проблем.

Прежде всего, возникли дополнительные напряжения между поколениями. Причем дело даже не в том, что столкнулись идеологии разных поколений. Этот разрыв идентичностей, конечно же, имел место и переживался остро, в том числе и потому что новая идеология не была достаточно внятно и убедительно артикулирована, а это, в свою очередь, консервировало старые идеологические клише. Но более интересной была другая претензия старого поколения к новому – обвинение в безыдейности *как таковой*. Характерное суждение того времени: если бы вы имели свои убеждения, отличные от наших, мы бы с этим смирились; но мы не можем смириться с тем, что у вас (в отличие от нас) вовсе нет убеждений, ради которых можно было бы... и т.д. Поколение, которому казалось, что оно все про себя хорошо знает и понимает, было шокировано поколением, которое себя «потеряло» и, более того, особенно искать и не собиралось.

Наряду с этим провалы в идеологии резко снизили электоральную поддержку реформ. Это хорошо видно по оценочной идентификации электората того времени, по согласованности реальных жизненных изменений, с одной стороны, и отношения к реформам – с другой.

С теми, кто жить стал лучше и поэтому поддерживал реформы, все было ясно. Как и с теми, кому стало хуже и кто реформы не поддерживал. В целом это были электоральные монолиты. (Хотя и здесь есть большое поле для идеологических разбирательств, например, кого в первую очередь винить в своих бедах недовольным или как себя по-человечески вести в нынешней ситуации довольным – хотя бы из чувства элементарного самосохранения).

Те, кто стал жить хуже, но, тем не менее, вопреки всему, продолжал поддерживать реформы, в идеологии извне не нуждались: они сами могли с кем угодно поделиться вполне внятным и осмысленным пониманием происходящего.

Основным резервом неустойчивости, пополнения электората и «правых», и «левых», власти и оппозиции (а значит, главным предметом политического дележа) были именно носители *благоустроенного недовольства*. Против реформ сплошь и рядом выступали те, кто в материальном отношении жил не хуже прежнего, порой несравнимо лучше, чем раньше, кто прилично обустроился, но страдал от того, что его привычная ценностная система находится в конфликте с новыми нормами и инструментами жизни. Кто, не бедствуя или даже преуспевая, оказался ничем «метафизически» не укоренен и не подстрахован в этом новом мире, кто не нашел достаточных оснований для таких не-

маловажных вещей, как самоуважение и признание. Наконец, кто действительно остро переживал идейную заброшенность, отсутствие неутилитарных смыслов и больших общих целей, не сводимых к сиюминутному личному благоденствию.

Если и этой реформе в России суждено было быть загубленной, то прежде всего метаниями этих людей – может быть, для кого-то и странных, но далеко не худших и заслуживающих уважения. Людей, которым дали «почти все», но при этом плюнули в душу, а потом уговаривали поддержать курс реформ, демократию и Президента-освободителя. В один прекрасный момент все титанические усилия по стабилизации в экономике могли обрушиться гиперинфляцией в «непромытых» мозгах. Тем более что идейная анемия власти особенно возбуждала разогретую сильными идеями оппозицию.

Теперь мы явно впадаем в другую крайность. Идеологическая обработка сознания намечает пургу уже не только в мозгах обрабатываемых, но и в головах самих обрабатывающих. Если раньше интригующим вопросом было «почему плохо тем, кому хорошо», то теперь чаще впору озадачиться вопросом прямо противоположным: «почему хорошо тем, кому плохо». А главное – что будет с этими парадоксами через некоторое время, когда ситуация начнет меняться. Тем более, что она уже меняется.

ПОСЛЕДНИЕ МЕТАМОРФОЗЫ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Некоторые черты российской идентичности считаются почти безусловными или, как минимум, упоминаются чаще всего. Среди таких черт есть особо излюбленные: идеологичность и духовность, державность и государственность, общинность и коллективизм... А еще что-то между Западом и Востоком. Можно спорить, в какой мере все это в нашей истории на самом деле присутствовало и к каким последствиям привело, насколько эти черты отличают нас от других участников мировой истории и т.д. Но отрицать вовсе наличие таких характерологических черт было бы странно, да и ни к чему.

Точно также можно спорить, насколько эти черты уместны в современной ситуации, способны ли они вести к успеху – или же по крайней мере некоторые из них будут тянуть страну назад, все более выключая ее из потока современности. Но подобные споры, как показывает опыт, в такой форме практически неразрешимы и не ведут к консенсусу – полемика в таких случаях идет не за истину, а на поражение.

В то же время можно попытаться хотя бы на отдельном этапе анализа отнестись к этим чертам нашей идентичности по возможности безоценочно и отследить те превращения, которые с ними происходили за последние периоды. Во всяком случае, потрясения XX века были для России настолько мощными, что многое могли изменить даже в тех глубинных, устойчивых чертах «национального характера»,

которые у нас по инерции продолжают считаться едва ли не фундаментом российской идентичности.

В значительной мере именно это и произошло. XX век был ознаменован такими глубинными «социотрясениями» (Б. Грушин), что это, с одной стороны, не могло не произвести возгонку всех сильнейших сторон российской идентичности, а с другой – не поставить их под удар своего рода *самоуничтожением через гипертрофию*. В этих потрясениях мы одновременно и реализовали свою натуру в экстремальных ее проявлениях – и надорвали ее. И теперь пожинаем плоды этой надорванности, пытаюсь опереться в себе на то, чего уже нет. Или на то, что в современном мире заведомо не срабатывает.

Поскольку мы говорим об идентичности, уместно начать такое рассмотрение с роли идеологии в обществе, с идеологичности России – страны, государства, народа и т.п.

Действительно, идеологическая составляющая всегда играла особую, хотя и разную роль в российской истории. Хронически дремлющая Россия совершала рывки вперед в том числе и во исполнение вдруг обуявших ее особо крупных и сверхценных идей, проектов и начинаний. Готовность перевозбуждаться идеями – это, похоже, характерологическая черта и государства, и народа, его культуры, его весьма неровного, легко обуреваемого темперамента. Здесь можно возразить, что идейная одержимость была присуща и другим народам на разных этапах их развития, вплоть до выплесков повышенной пассионарности. Однако там, особенно в евроатлантической цивилизации, последствия взрывов идеологических страстей из века в век все же давали основательные

уроки, после которых люди учились не слишком поддаваться обаянию идей, какими бы перспективными и духоподъемными они ни казались. Это не всегда получалось, но немецкий фашизм был для Запада уже на тот момент явлением экзотическим и, можно надеяться, последним.

В Советской России (как более правильно, если говорить по сути, именовали СССР вовне) идеология была главной опорой и главным двигателем режима, ее становым хребтом. В определенных пределах (гораздо более широких, чем обычно кажется) она не была догмой – особенно если вспомнить такие эпизоды, как НЭП. С догматизмом боролись во многом как с фикцией: то, что было догмой для масс, было предметом достаточно свободных манипуляций для идеологической власти²⁶. Конечно, общий каркас идеологии сохранялся и решающим образом сдерживал развитие, но внутри этого каркаса порой происходили почти тектонические сдвиги, вследствие чего жизнь менялась так, как она не менялась в других странах даже при смене ведущих идейных доктрин. Во всяком случае, военный коммунизм и НЭП или сталинизм и оттепель – это всё настоль-

²⁶ То, что на поверхности выглядело как «власть текста», на самом деле реализовывалось как *власть над текстом*. Ровно то же самое происходило и в плане «борьбы с бюрократизмом», бывшим, если называть вещи своими строгими именами, такой же фикцией, как и догматизм. Чиновника-бюрократа карикатуры того времени изображали моральным уродом с параграфами вместо глаз, а пропаганда делала из него бездушную, бесчеловечную машину, якобы слепо исполняющую формальные предписания. На самом деле, здесь сплошь и рядом не хватало (как и сейчас не хватает) именно тупого исполнительства, формальной дисциплины. В этой машине много человеческого, слишком человеческого. В этом смысле обманки «догматизма» и «бюрократизма» составляют единое целое.

ко разные с точки зрения человеческой жизни ситуации, что в пору говорить о смене многих экзистенциально, а то и физиологически важных качеств режима внутри формально одной идеологической оболочки. Можно утверждать, что эти изменения не затрагивали основ идеологии и режима, но для людей, которых вдруг перестают в массовом порядке сажать и расстреливать – это уже совсем другой мир, другая жизнь, другая страна. Если угодно – другая идентичность.

Как бы там ни было, идеология оставалась стержнем системы в гораздо большей степени, чем иногда кажется. Политические преступления всегда считались здесь самыми страшными и наиболее жестоко карались, но при этом они все по своей сути были преступлениями именно *идеологического характера*, преступлениями против *идеологии* (других форм политической жизни в стране не было, если не считать редких верхушечных заговоров и игрушечных покушений). Даже самые опасные экономические преступления были, по сути, преступлениями идеологическими: кража у государства была самой осуждаемой не потому, что «государству жалко», а потому что это подрывало идеологию, святость самого порядка. Точно также принимались самые крупные экономические и производственные решения: во имя торжества идеологии можно было закопать в землю немеренные ресурсы, при этом «политическое значение» заранее списывало любые потери.

Кроме того, идеология проникала во все поры человеческой жизни, социальной и даже индивидуальной. В «Пяти вечерах» Володина люди, любившие и потерявшие друг друга, встретившись через много лет, общаются посредст-

вом газетной лексики («Живу полной жизнью...»); к близким они обращаются с теплым человеческим укором: «У тебя нет общественного лица!». Идеологические художества в искусстве и откровения в науке также общеизвестны.

Все это не могло не вызвать жесточайшую оскомину, своего рода *идеологическую идиосинкразию*. Крушение режима естественным образом стало началом обвальная деидеологизации, вплоть до известной записи в Конституции. Можно обсуждать, насколько такая деидеологизация оказалась глубокой, последовательной и насколько она как таковая вообще возможна в заявленных объемах, однако нельзя не видеть, что запредельная идеологичность советского режима дала в плане отношения к идеологии небывало сильную отдачу. И теперь строительство *инновационного общества* даже близко не может вызвать такого воодушевления, какое в свое время вызывало строительство коммунизма – хотя по масштабу требуемых изменений и утопизму многих проектов эти задачи почти соизмеримы. Точно также нанотехнологии и им подобные проекты более не воспринимаются и, надо надеяться, уже не будут восприниматься с таким слепым энтузиазмом, как ДнепрогЭС, Магнитка или Целина, а скорее сойдут за «кукурузу XXI века». Советская идеология тоже во многом работала на себя, на самоудовлетворение власти, но теперь такое самоудовлетворение все чаще становится едва ли не единственным реальным эффектом напряженной идеологической работы. Идеология восстанавливает инстанции, но теряет прежнюю аудиторию.

Сходные метаморфозы произошли и с тем, что у нас всегда держали за неподражаемую российскую духовность.

Действительно, мало где можно было встретить такую предрасположенность к бдениям духа (от самых высоких до предельно обыденных, включая нетрезвое общение) в ущерб стараниям за материальные блага. Несколько даже пренебрежительное отношение к материальной стороне жизни, от богатства до обычного бытового комфорта, издавна отмечалось как странноватая, но в целом довольно привлекательная черта обитателей России.

Однако советский режим позволил себе столь сильную возгонку такого рода идейного и бытового аскетизма, что она дала не меньшую отдачу, чем в случае с идеологией. Обирание и раздевание во имя идей оказалось настолько радикальным, что перешло границы приемлемого даже в рамках традиционной российской немеркантильности²⁷. В результате постсоветский человек при первой же возможности бросился в омут яростного накопительства и малоосмысленного шопинга, погрязнув в таком вещизме, какой уважающему вещи и комфорт Западу был неведом даже в самые яркие периоды массового приобретательства.

Одновременно сильно потускнело понятие духовности. Теперь навязчивое его употребление, во-первых, говорит не столько о стойкости нашей идентичности, сколько о ее кризи-

²⁷ В свое время у музея деревянного зодчества близ Ипатьевского монастыря в Костроме возникли идеологические проблемы. В галерее домов богатого, среднезажиточного и бедного крестьянина довольно скоро выяснилось, что изба бедняка представляет собой чуть ли не хоромы в сравнении с большинством домов окружающих деревень и поселков.

се, а во-вторых, уже давно вызывает ощущение откровенной маниловщины. Вопрос только в том, изменится ли что-нибудь, когда народ хоть как-то наиграется еще совсем недавно неведомым ему бараклом, или же процесс необратим.

Примерно то же произошло и с традиционной российской общинностью, которая трагически надорвалась на неумеренном советском коллективизме. Коллектив воспринимался во многом как благо, но имел и оборотную сторону. Им вполне корыстно манипулировали из власти, а также разного рода неугомонные активисты и общественники. Коллектив распределял блага, но часто не по совести, с большими обидами. Он карал и миловал, лез в частные дела и личную жизнь, даже в интимные отношения, чуть не под одеяло. Коллектив был местом, в котором индивида втягивали в самые позорные акты лицемерия и конформизма, доноительства и предательства.

При этом пространства и возможности приватной жизни были радикально ужаты. Характерно высказывание одного уважаемого интеллектуала того времени: «Я не хочу быть членом никакого коллектива». В итоге советский коллективизм на излете породил такие формы социальной атомизации, какие вряд ли встречались на традиционно индивидуалистическом Западе, помешанном на неприкосновенности частных пространств. И теперь общинности, здоровому коллективизму, а то и нормальной человеческой взаимопомощи и пристойным взаимоотношениям нам впору учиться у модернизированных восточных общин или у цивилизованно, технично и очень комфортно социализирующегося Запада.

Традиционное российское государственничество всегда вызывало к себе двойственное отношение (знаменитое «Государство крепло, народ хирел»). Однако монстр неограниченного этатизма, взращенный в пробирке коммунистического эксперимента, в целом ряде отношений обрушил и эту, казалось бы, неискоренимую сторону российской идентичности.

Как ни парадоксально, главное в этом обрушении произошло не после крушения советской власти, а внутри самой советской государственности. Имя того, что на бытовом уровне и в не слишком рефлексивной оперативной политологии до сих пор называют советским государством, грамотные политологи в строгих контекстах уже тогда писали через дефис: *партия-государство*. Эта связка принципиальна, она многое меняет. В этом сростке партия постепенно становится единственным по-настоящему живым, самостоятельным организмом, превращая институты государства в управляемые протезы. Дело даже не в том, как велика была степень партийного контроля и насколько активным было здесь регулярное руление. Система власти, в том числе государственная машина, является «машиной» лишь в метафорическом смысле слова. Реальные детали этого агрегата – живые люди. Функционирование такой машины обеспечивается не механически, а сложной системой человеческих взаимоотношений, базирующихся на самых разных обстоятельствах, от трансцендентных обоснований власти, до обычной исполнительской дисциплины, всегда обусловленной чем-то *большим*, чем формально установленный регламент поведения. Это может быть и ко-

декс служения, увязанный с приснопамятной триадой «Православие, Самодержавие, Народность», и простое «Партбилет на стол!», приводившее машину в более или менее правильное движение, даже когда в самой власти и в аппарате к идеологии уже относились с плохо скрываемым цинизмом.

Но, подчиняя себе государство, партия во многом разрушает его как самостоятельную систему. Поэтому после долгожданной эмансипации государства от партии, страна получила не готовую машинерию новой государственной системы, а *осиротевшие протезы*: рыцарь ушел – латы обвалились. Без сакраментального «Партбилет на стол!» эта система не работала, а по-другому не научилась. До сих пор. Системы права, административного регламента, регулярной ротации, вертикальной мобильности, социальных льгот и гарантий, общественного контроля и т.п. здесь пока явно не хватает. Но этому особенно и не учат, что особенно тревожно, поскольку новая партийная вертикаль прежней роли в новых условиях заведомо не сыграет.

Эта новая ситуация заодно развеивает миф *сильного государства*. Государство является одинаково слабым, если им манипулируют извне или изнутри, от олигархии или из аппарата. По сути, нет никакой разницы, когда бизнес управляет властью или когда власть используют как инструмент ведения бизнеса. Государство может набирать силу в отношении своих граждан, но при этом оно вовсе не обязательно становится сильным в строгом смысле этого слова – иногда правильнее это называется так: *сильные люди манипулируют слабым государством*. И при этом маскируют свои манипуляции мифами исконного российского этатизма. На самом

же деле, то, что вчера проделывала с государством идеология, теперь проделывает с ним бизнес на власти.

Попутно пошатнулся еще один наш классический миф: СССР в качестве определенного рода *имперской сборки* в итоге надорвал и вековую российскую империю. Он собрал в единой геополитической системе разные страны, образовывавшие «ближний круг» (собственно Союз) и буферный пояс – мировое Социалистическое Содружество. При этом хронополитически такая сборка считалась вечной и принципиально нерушимой, способной только к экспансии. Это позволяло, кстати, делать щедрые территориальные подарки: в свое время передача Крыма Украине воспринималась как перемещение шкафа из комнаты в комнату одной и той же навеки родной квартиры.

Поэтому и нарезка на отдельные «помещения» была здесь крайне неосторожной и плохо приспособленной к возможному демонтажу системы. В результате при скоропалительном развале от тела бывшей, еще досоветской империи оказались по живому отрезаны многие «лишние» куски. К тому же тип имперского правления и влияния оказался в СССР настолько проблемным, что отвалившиеся куски за единичными исключениями надолго, если не навсегда утратили собственные мотивы притяжения. Это тем более проблемно, что рубежи притяжения-отталкивания нередко проходят по живым телам новых суверенных государств (восток Украины, Белоруси, Молдавии, север Казахстана...).

Когда-то автор этих строк любил повторять, что Россия останется империей, даже если сожмется до границ Московской области. Похоже, это уже не так. СССР, по сути,

убил старую империю, сначала вобрал ее в себя и даже расширив, но в итоге надорвавшись на глобальной, причем именно имперской конкуренции. Если относиться к идеологии коммунистического проекта более-менее всерьез, то это был типичный «замах на мир».

К этому лучше относиться с пониманием: подобная судьба рано или поздно подстерегает все империи. Но при этом желательно учитывать, как минимум, два обстоятельства: во-первых, имперские настроения не уходят с гибелью империи, а то и нарастают в психологии реванша; во-вторых, империи на мировой карте не исчезают вовсе, но реализуются теперь на новых субстанциях, обычно поверх государственных границ. Нынешняя карта мира, как полупрозрачными кальками, покрыта множеством постсовременных империй: финансовых, торговых, информационных, технологических, интеллектуальных, культурных, даже рекреационных. Эти империи срastaются не кусками, а диффузией свободного перемещения атомов – рабочей силы, мозгов, денег, коммерции... Такое сращивание оказывается прочнее, чем старые имперские сборки «на болтах», которые рано или поздно все равно развинчиваются. Но чтобы вступать в эти неоимперские расклады, надо менять свою внутреннюю организацию. А это уже совершенно другие игры с собственной и чужой идентичностью.

В этом новом мире рушится еще один классический миф об уникальной российской идентичности – о великой судьбе и миссии России в качестве перекрестка, медиатора между Западом и Востоком.

Такое положение имело выдающийся смысл, пока главное в мировом обмене было телесным, пока культуру и цивилизацию возили вместе с товарами по торговым дорогам. Но в мире, в котором все более важное, а, по сути, решающее место занимает обмен информацией, значимость роли физического перекрестка между цивилизациями стремительно падает, а в итоге становится и вовсе ничтожной. Информационный, а с ним межкультурный, межцивилизационный обмен проходит поверх географических границ и трасс. Ему уже не нужны сначала территориальные, а затем и смысловые посредники. Запад и Восток уже давно коммуницируют и интегрируются между собой «в обход» и «поверх» России, философия которой по инерции и уже даже несколько комично продолжает надувать щеки по поводу великой российской цивилизационной миссии. Кстати, как показывает развитие мировой философской мысли, чтобы «поженить» Дьюи и Конфуция, американцам, китайцам и всем остальным вовсе не нужна ни русская, ни постсоветская философия: они это уже легко, убедительно и продуктивно делают, но без нас.

Кроме того, исключительные выгоды такого положения для нас также вовсе не очевидны или, как минимум, неоднозначны. Не исключено, что России в ее задержанной истории всегда мешали заполошные метания между Западом и Востоком. Ничего особенно хорошего не получалось, когда это смешение давало подобие среднеарифметического эффекта. И теперь не получится. Но особые катаклизмы случались, когда восточное и западное в российской идентичности, оставаясь собой, попадали в резонанс, раскачивая друг друга.

Сама идеология великого жизнеустроительного эксперимента – эпопеи коммунистического строительства – возникла, как известно, на Западе. Но главное здесь даже не авторство, а дух. Это, по сути, был апофеоз всего западного цивилизационного проекта, сначала эмансипировавшего человека, подвигнувшего его на рациональное, целесознательное переустройство мира, а затем и взявшегося за такое же тотальное переустройство природы самоё себя и общества. Однако, напорившись на серию кровавых революций, Запад осмотрительно умерил эти притязания. Россия же приняла этот вполне западный жизнепереустроительный дух в оболочке марксизма и бросилась воплощать эти идеи с поистине восточным фундаментализмом и даже фанатизмом. Восток здесь сказался в нас таким образом, что мы оказались *западнее Запада*.

В этом смысле не вполне корректными выглядят суждения о том, что Россия не пережила своего модерна. Скорее наоборот, Россия модерн страстно подхватила, во многом авторизовала и усилила, а в итоге даже гипертрофировала. Это было и в художественной культуре, и в идеологии, и в реальной политике. Мы двинулись туда, куда сам Запад до конца идти не решился – если не считать нацистского проекта. Российский и немецкий тоталитаризм во многом не тождественны, но сходятся в установке на проектно-преобразовательное переустройство человека, общества, мира²⁸. В итоге на излете техногенной цивилизации столкнулись два ее тоталитарных порождения – будто специально для того, чтобы поставить

²⁸ Кстати, видимо, очень не случайны заигрывания нацизма с Востоком: здесь также западная технократическая интенция была пущена в резонанс восточным по своему духу фундаментализмом.

кровавый крест на одном из главных цивилизационных трендов Запада. Поверженная Германия вернулась в лоно почти одумавшейся цивилизации и заняла свое место в общем фронте экономического, научно-технического, интеллектуального, духовного, политического и социального развития. Победившая Россия еще долго продолжала достраивать свой безнадежный проект, который в итоге рухнул, лишь к концу века освободив российское общество от иллюзий социально-экономического инженеризма.

Но с этим освобождением обрушилось и многое в нашей идентичности. Передохнув какое-то время без вечных для России мук самоидентификации, мы теперь беремся за дело с новыми силами – и со старыми навыками. Мы ищем свою новую идентичность в том, что сами же в себе убили, не слишком удачно проверив на разрыв идентичность старую. Но не найдя ничего особенно нового (и при этом продолжая настаивать на необходимости опять изобрести нечто суверенное), мы в качестве опоры часто выхватываем из своей истории либо то, что всегда тянуло страну назад – либо то, что на крутых виражах истории толкало ее в неуправляемые заносы и выбрасывало с трассы. Это и вечная обуза несбалансированной, самоценной государственности, и подобострастные персонификации власти, и технократическое стремление вогнать сложнейшие процессы в режим ручного управления, и многое другое.

Но теперь это тем более опасно, что в начале нового тысячелетия Россия вновь стоит перед настоящей необходимостью не просто искать, но и на ходу перестраивать свою идентичность.

ВРЕМЯ ИДЕНТИЧНОСТИ. ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ И «ПЫЛЬ ИСТОРИИ»

«Перестраивать свою идентичность» – сейчас нет ничего более неблагодарного, чем заниматься этим, а тем более писать об этом. Знающие (в особенности воспитанные на истмате) люди тут же объяснят, что идентичность формируется прежде всего под воздействием реальных жизненных обстоятельств, что против этого ее никто и никогда успешно не перестраивал и не перестроит, что глубоко укорененная натура сама перестроит кого и что угодно. Это во многом верно – как прививка против того же инженеризма, против маниловских иллюзий «воспитания». Однако нельзя забывать и о том, сколько раз в истории идентичность проектировали, переделывали, ломали через колено. Правда, потом она все равно проступала, как нестираемая запись, но все-таки уже иной и не без последствий такой ломки, иногда фатальных.

Сейчас страна находится перед тем же выбором: либо надо разбираться с собственной идентичностью – либо она сама разберется с нами, нехорошо и, возможно, окончательно.



Связанные с идентичностью «субстанции» так или иначе понятны. Это содержания: смыслы, идеи, ценности, представления и пр., а также тексты – носители содержаний. Это сознание: индивидуальное – и целые наслоения коллективных, плюс индивидуальное и коллективное бессознательное. Это социум и *машины идентичности*, сознание и подсознание обрабатывающие. Наконец, это сама жизнь,

воспитывающая идентичность не хуже всех воспитателей и воспитательных институтов вместе взятых.

Вместе с тем, этот сложный массив идентичности и того, что ее формирует, изменяясь, движется *во времени*, которое, в свою очередь, сложно устроено. Историческое, культурное время, будучи *воздухом изменений* – не однородная пустота. В нем есть свои силовые поля и линии, своя структура скоростей, свои горизонты и слои движения. Эта *форма времени* активно управляет историческими процессами, в том числе – изменениями идентичности. Неравномерная плотность времени влияет на характер движения. Когда эту темпоральную конструкцию не видят или игнорируют, обычно больно ударяются о невидимые «углы», сбиваются с курса и регулярно промахиваются мимо цели.

*Содержательное время*²⁹ одновременно и растянуто, и спрессовано. Оно движется одновременно в разных шкалах и с разными скоростями. Оно разнонаправлено. Оно не линейно и не имеет какого-то одного вектора, в нем нет присущей физическому времени необратимости. В нем нет обычной непрерывности; оно не континуально, имеет разрывы и пустоты. Время как *пространство* истории не классическое, а искривленное. Как у Д.А. Пригова: «Что-то воздух какой-то кривой»³⁰.

²⁹ Термин М. Мамардашвили, отличавшего «содержательное время» от времени «физического».

³⁰ Вот полностью это выдающееся произведение Поэта (в орфографии и пунктуации Автора – то есть, без нее), глубоко и философски проникающее в сложные эволюции российской идентичности:

Что-то воздух какой-то кривой

Так вот выйдешь в одном направленье

В нашем случае даже политическое время оказывается сродни времени в искусстве, в частности в литературе, драматургии и кино, о нетривиальных свойствах которого много написано. При анализе столь неклассических и высокохудожественных процессов, к каким относятся нынешние преобразования в России, часто требуется примерно такая же свобода обращения с временем, как и в художественном творчестве или искусствоведческом анализе. Время здесь не просто соединяет разные эпохи и фрагменты социальной реальности, движущиеся с разными скоростями. Сплошь и рядом эти фрагменты движутся в разных, а то и в прямо противоположных направлениях, причем часто именно начало ускоренного движения в одну сторону вызывает реакционное, компенсирующее движение в другую. Форсированное продвижение вперед, удающееся в одном, толкает назад в другом, пробуждает мощный ответ из уже основательно забытого прошлого. Рождение нового сопровождается активизацией старого и реанимацией уже, казалось бы, навсегда умершего. Прогресс плодит архаику, революционные сдвиги вызывают «адекватные», симметричные ответы застарелого, нездорового консерватизма, переходящего в реакцию. И все это сходится в одном времени, заставляя так или иначе уживаться несовместимое. В результате страну тянет в разные стороны, как на четвертова-

А уходишь в другом направлень
Да и не возвратишься домой
А, бывает, вернешься – Бог мой
Что-то дом уж какой-то кривой
И в каком-то другом направлень
Направлен

нии. В разрывах, бывает, сочится кровь, но они тут же срастаются, и тело социума и государства продолжает мучительное движение в истории.

Все это порождает странные идентичности. И чем дальше, тем *странноватее*, как говорила одна девочка. Тем более что дело уже приходится иметь не просто с возрастающими скоростями, а с экспоненциальным ростом *ускорений*.

Ситуация усугубляется тем, что России в одном историческом действии приходится оперативно решать разные, более того, разномасштабные задачи. Одновременно приходится снова и снова выяснять отношения: с самодовольным «благоденствием» начала нового века; с экстремальными реформами 1990-х; с драматичными обстоятельствами и последствиями выхода из коммунистического проекта (конец 1980-х); с метастазами «застоя»; с недоделками «оттепели»; с неполной, половинчатой десталинизацией; с неизжитым наследием Великого Октября; с незавершенностью реформ второй половины позапрошлого века и т.д., через реформы Петра, смуты, собирание государства, через порабощения – последовательно по всем неразрешенным этапам поиска и формирования российской идентичности. Причем дело приходится иметь не просто с этапами, а с целыми гигантскими историческими пластами, с их наслоениями. И не в историософии, а практически, в реальной политике. Разбираться со всем этим именно сейчас (и именно в таких масштабах и горизонтах!) заставляет исторический масштаб задачи – параметры назревшей модернизации.

Такого рода пласты образуют сложную *геологию идентичности*. Как всякие наслоения, они хранят прошлое, ко-

того уже нет на поверхности времени, но которое всегда «под нами». Это *прошлое сознания* иногда ведет себя спокойно, но чаще давит наверх и в любой момент может быть выброшено на поверхность текущей жизни в трещины, образуемые более или менее мощными социальными сдвигами и катаклизмами.

В опрокинутом назад времени идентичности мы обнаруживаем не отдельные пункты и даже не просто чередующиеся этапы большого пути. Каждый лежащий ниже слой объединяет несколько этапов, и чем глубже залегают эти слои, тем большие по размерности макроэтапы (объединенные последовательности, связки этапов) они вбирают в себя. На поверхности времени мы живем днями и событиями, но в толще времени наша идентичность изменяется в других длительностях, в других временных измерениях: от десятилетий до веков. В самом низу, у «дна» исторического времени, волны изменений необычайно длинны и течение идентичности почти незаметно; здесь отстаиваются наиболее глубокие и неизменные, «вечные» свойства национального характера – хорошие, но и одиозные, олицетворяющие худшее в отечественной архаике. Еще раз: все это может веками дремать, однако революционные ситуации пробивают «до дна», устремляя на поверхность почти первобытные страсти и инстинкты.

То же самое можно сказать о предреволюционных ситуациях, когда необходимы глубокие изменения, альтернативой которым может быть очередной срыв. Если революции дают выброс из глубины, то для их предотвращения необходимы сильные реформы, а они, в свою очередь, тре-

буют работы с теми же самыми глубинами сознания и психики. Чем серьезнее историческая задача, тем более глубокие пласты национальной идентичности она затрагивает. Здесь принципиально важно определить, какой глубины пласты ментальности необходимо затронуть – и какие из них придут в движение и устремятся на поверхность в результате возмущений на поверхности. Причем эти задачи взаимосвязаны: если проигнорировать глубинные течения идентичности, именно они рано или поздно смоют новые политические, общественные и экономические постройки.

В данном случае речь не идет о пассивном следовании глубоко залегающим свойствам менталитета и характера. Наоборот, речь о том, чтобы активно встретить «всплытия» и «выбросы» этих свойств – и наоборот, привести в движение те пласты идентичности, которые своими тяжелыми инерциями не позволяют сдвинуться вперед (или, как минимум, лишают возможности набрать требуемую скорость).



Так, переход в *инновационное общество* требует работы на самых разных глубинах самосознания и менталитета. Если эта задача не будет решена, Россия падает в «третий мир», и это падение будет настолько болезненным, что трудно предугадать, какого масштаба срыв может быть следствием такого рода исторической неудачи. При этом отягощающие инерции, идущие от глубины идентичности уже видны.

Сейчас (при явных злоупотреблениях режимом ручного управления, например, в запуске инноваций) все же складывается понимание потребности в *системе*. Однако элементы такой системы заимствуются без учета инерции даже тех сло-

ев идентичности, которые наиболее близки к поверхности. Немалые средства, отпускаемые на научно-технологический прорыв, в полном соответствии с отечественной традицией рассылаются энтузиастами – инициаторами и организаторами. Более того, «технопарки», «внедренческие зоны», «инкубаторы», «посевные», «венчуры» и т.д. – все это часто напоминает пудренные парики на петровских боярах. Даже если здесь что-то и возникнет, потенциальные инновации упрутся в экономику, суть которой в том, чтобы отбирать и отчасти раздавать, но не производить³¹. А эта экономика (помимо поплавок сырьевой конъюнктуры) сама плавает в определенном горизонте ментальности – психологии, ценностей, стандартных реакций, архетипов. И если с такого рода ментальностью не работать, эта экономика будет царить, пока не обвалится, вместе с ценами на сырье, а заодно и со страной. Не хватит никакой политической воли.

Для изменения ситуации, а именно для создания несырьевой альтернативы, нужна *другая институциональная среда*. Об этом периодически говорится, но все же пока не на уровне главного акцента в идеологии и чаще в организационном, техническом или сугубо юридическом плане. На самом же деле, нужна среда, основанная на *другом моралитете* – среда, в которой институты и власть не благодетельствуют население, что-то распределяя и перераспределяя, а служат ему, ибо именно активное население производит основу национального благосостояния. Это тоже, помимо прочего, ментальность и тоже пласт, но зале-

³¹ Иногда это называют экономикой «сдач – раздач», в которой распределение неизменно сопровождается рационированием и дефицитом.

гающий еще глубже. Без работы в этих горизонтах сознания и культуры не только не изменить институциональную среду, но и саму задачу такого изменения в должном объеме, с необходимой остротой и ответственностью не поставить. Симпатии к ручному управлению в данной конкретной ситуации могут казаться верхом реализма и рациональности, но «за кадром» и в глубине отношений они всегда имеют все тот же стереотип недоверия и презрения к обществу, к людям. В результате сначала создают условия и среду, в которых просто так работать невозможно и люди сами по себе ничего делать не могут – а потом начинают *водить руками*, потому что, якобы, без этого руководства страна в инновационное будущее не сдвинется. Такого рода *управленческий харассмент*, хорошо организованный и слишком для нас традиционный, процветает «по жизни», но и не оспаривается в идеологии. Наоборот, административное рукоблудие то и дело убежденно пропагандируется.

Это важно, поскольку в данной ситуации «вначале было слово» (или его не было). Бесполезно спрашивать, будет ли реально сделано дело, если о нем даже говорят редко, глухо и невнятно.

В этой проблеме виден «пробой» в еще более глубокий слой национальной идентичности – в саму *метафизику* взаимоотношений власти и общества, веками господствующую на этой части суши. Здесь материализовалось всё: гигантская, растянутая, местами пустынная, почти разорванная территория, не всегда комфортный периметр, плохая «обводка»; бесконечные нашествия и нескончаемая оборона; собиранье страны из междоусобиц; великие, но всегда

ущемленные вселенские амбиции, мессианство и миссионерство... «Государство крепло, народ хирел». Александрийская колонна как фаллический символ вечного русского столпотворения: стоит, а вокруг пусто.

Но здесь же видны и более прозаические воплощения этой властной вертикали – господство *паразитарных стратегий*. Страна чуть ли не надвое колется на тех, кто что-то реально делает – и на тех, кто руководит, регулирует, надзирает, контролирует, учит, забирает «лишнее» и не во вред себе перераспределяет отобранное. Плюс те, кто весь этот всероссийский паразитарий обслуживает идейно и концептуально, политически и юридически, информационно и цензурно, «морально» и «художественно» – или просто силой.

В приватной беседе вам всегда ласково объяснят, что у нас такие взаимоотношения власти и людей, поскольку «страна такая». Но сделают это тихо, «между нами».

То же самое вам всегда обоснуют в теории, историсофски и даже геостратегически. Но неизменно с некоторым покраснением в лице, с недоговариванием и иносказаниями в политических выводах. Без покушений на Конституцию РФ и как бы не ставя под сомнение свободолюбие официальной риторики. Наоборот, это суверенное позорище не может без чужого, приличного фасада и штукатурного макияжа на нем.

Морализировать здесь бесполезно. Но можно опровергнуть довод «страна такая». Страна уже давно *не такая*. И мир – не такой. Физическая география значит уже много меньше: информационные технологии собирают не только большие пространства, но и независимые фрагменты, распо-

ложенные на разных концах Земли. С силовыми угрозами на особо обидчивых обладателей ядерного оружия и средств доставки никто всерьез не покушается – во всяком случае, аргумент «осажденной крепости» ничтожен как оправдание внутривосточного зажима. Сепаратизм несостоятелен, если его не провоцировать, а тем более не поощрять. Веси собраны так, что центр отбирает у них столько суверенитета, сколько может унести (а он выносливый!). На роли мировых жандармов и мировых освободителей давно не хватает ресурсов. Амбиции остались, но глобальная миссия России сейчас скорее в том, чтобы сохранить себя в условиях взрывной глобальной модернизации и не дать образоваться на этой территории воронке, которая начнет затягивать в опасные конфликты и страну, и человечество.

Основательность этого исторического вызова такова, что для выхода из сложившегося положения стране необходимо выяснять отношения не с «лихими девяностыми» или с чем-то более или менее близким по времени, а *практически со всей геологией собственной идентичности*, с вековыми традициями и привычками. Это проблема не данного дуумвирата, а едва ли не всей российской истории. Здесь России предстоит разбираться с Россией, а не с предшественниками по правлению и конкурентами в политике. Или же будет реализован «инерционный сценарий», о последствиях которого (особенно отдаленных) думать опасно для психики, а говорить опасно для жизни.

Дело отчасти упрощается тем, что Россия сейчас не просто совершает цивилизационный переход, пересматривая свои взаимоотношения с «традиционно российским». На-

пример, в процессе продолжающейся декоммунизации она одновременно осуществляет частичный *возврат* – причем возврат как раз к тому самому *российскому*, что было более или менее прогрессивным для своего времени (по нашим местным и даже по мировым масштабам), к тому, что было brutally порушено сначала революцией, а потом почти веком тоталитарного и посттоталитарного «обновления». С этой точки зрения Россия, догоняя Запад и тех, кто успел за ним вовремя последовать, в целом ряде отношений не уходит от себя, но *возвращается к себе*. Она движется вперед, одновременно как бы возвращаясь назад, к своим же собственным ценностям, навыкам и укладам, когда-то и в какой-то степени почти обретенным, но затем революционно утраченным³².

Но дело и осложняется тем, что Россия не просто заново входит в цивилизацию, но входит именно в тот момент, когда эта цивилизация пересматривает собственные основания, сама переживает цивилизационный сдвиг. Мы прыгаем с одной движущейся платформы на другую, думая, что догоняем поезд, от которого вечно отставали, тогда как сам этот поезд в этот самый момент резко сворачивает, а в чем-то и начинает двигаться в обратном направлении. Здесь особенно легко промахнуться.

³² Только один пример из деловой этики: как выглядят *новые русские* на фоне приличного бизнеса, но не западного, а купцов и промышленников дореволюционной России; как они выглядят на фоне устоев, например, российского старообрядчества, а не в контексте протестантской этики (о которой у нас теперь болтают на каждом углу, часто не зная, ни в чем она состоит и на каких трансцендентных мотивациях основана, ни кто такой Макс Вебер).

Все это происходит в условиях жесточайшего дефицита времени. Поэтому вопрос об изменении идентичности в конечном счете упирается в проблему скорости.

В отношении скоростей в нашей ситуации все очень неоднозначно. Глядя на перипетии политических и экономических реформ конца прошлого века, можно сокрушаться их пробуксовками и половинчатостью, но можно и, наоборот, поражаться их темпам и глубине, едва ли не беспрецедентной в истории (в пересчете на единицу времени). Можно стенать о том, насколько наш народ не готов к начавшимся изменениям, но можно, наоборот, поражаться тому, насколько легко и быстро этот же самый народ – хотя бы наиболее активной своей частью – возродил в себе то, что умерщвлялось десятилетиями. Проблемы жизни и политики заключаются в преодолении инерций, но для исследователя проблема состоит в другом: в объяснении того, каким образом тот же самый народ вошел в стремглав начавшиеся изменения с гораздо большей готовностью, чем того можно было ожидать от общества, затравленного почти веком коммунистического перевоспитания. И это важно политически. В самом деле: если, как утверждает, народ «не готов к свободе», зачем столько средств, политических усилий и эфирного времени тратить на то, чтобы затолкать его назад в несвободу? Если народ «не готов к самостоятельности», зачем обрезать последние островки самостоятельности у тех, кто к ней готов много больше суверенного руководства? Если в сознании общества и без того много архаики и инфантильности, зачем всему этому потакать и так усердно, целенаправленно культивировать?



В подобных ситуациях многое зависит от соотношения разных скоростей, распределенных по пластам залегания и изменения идентичности. Как уже отмечалось, в социальной практике даже относительно простые процессы нередко попадают в сложнейшие водовороты или «пустоты» неоднородного исторического времени и именно из-за этого оборачиваются массовыми стрессами и политическими катаклизмами. Но если различать *быстрое* и *медленное* время, то окажется, что в социальной реальности каждому из таких времен соответствует своя «физика» реальности и процессов, зеркально противоположная физике обычной, материальной. Если в физическом мире малые объекты живут в малом времени (в ничтожно малом времени перемещения и существования, вплоть до 10^{-23} сек.), то в социальном мире обычно бывает ровно наоборот: большое живет в малом времени событийных изменений, а малое – во времени Большой Истории. Если в физике микромир живет на сверхкоротких длительностях, а микрофизика прочитывается именно на предельных скоростях, то *микрофизика власти* (то, что во власти достаточно мало, чтобы быть невидимым), наоборот, принадлежит именно медленному времени и большим длительностям³³. Чтобы ее разглядеть, надо увидеть ее в движении: в неподвижном состоянии она практически не видна, как и всякий хорошо закамуфлиро-

³³ Здесь идея «микрофизики власти», как ее исследовал М. Фуко, продуктивно соприкасается с идеей «длинных волн», как их исследовал Ф. Бродель. Иначе говоря, здесь сходятся две, пожалуй, самые сильные парадигмы новой политической философии и истории.

ванный объект. А чтобы увидеть ее движение, надо настроить зрение на другие длительности, синхронизировать его с предельно малыми скоростями. Так, чтобы увидеть движение часовой стрелки, надо, как минимум, сесть и замереть, то есть, говоря теоретически, изменить характер движения во времени и в пространстве самого наблюдателя.

Как и сверхскорости в физике, медленное время в истории было *открыто*³⁴. Оказалось, что под пеной царствований и президентств, под рябью войн и legislatur, реформ и реформаций, революций и бунтов, выборов и путчей, политических убийств, шокирующих открытий и ярких новшеств – подо всем этим (как говорил Ф. Бродель, под «пылью истории»), лежат невидимые невооруженным глазом *длинные волны* эволюции систем питания и одежды, лечения и наказания, обучения и воспитания, контроля и надзора, контактов и нравов и т.п., включая весь комплекс бытовых, повседневных, обыденных практик и отношений. Эти изменения имеют другую темпоральную природу, нежели то, что в истории *случается*. По словам Броделя, история «учит нас бдительности в отношении событий. Мы не должны мыслить исключительно категориями краткосрочной перспективы...»³⁵. Он настаивает на «особой ценности длительных хронологических единиц»³⁶.

³⁴ Это сделал Фернан Бродель, вслед за Люсьеном Февром заложивший основы историологической «школы “Анналов”». Предметом его объемистых и скрупулезных исследований стали *структуры повседневности*, причем не сами по себе, а именно в их медленном, почти незаметном изменении.

³⁵ Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность. – В кн.: Философия и методология истории. М., 1977. С. 134.

³⁶ Там же. С. 117.

Бродель, по сути, открыл новую, *несобытийную* историю – и новое *время* этой истории³⁷.

Если с этой точки зрения взглянуть на Большую Историю, то можно обнаружить, что событийные и медленные ритмы не просто сосуществуют, то отстраняясь друг от друга, то вступая в активный контакт. Во взаимоотношениях быстрого и медленного времени есть определенные принципы, формы, свой специфический для каждого времени *характер*. И эти принципы и формы сами меняются во времени. В истории *меняется характер внутреннего устройства самой истории*. Что, по идее, должно было бы составить особый предмет – предмет *метаистории*. Такого рода метаистория могла бы описывать характер изменения самой истории – своего рода *историю истории*³⁸.

³⁷ Правда, уже ближайшие последователи Броделя почувствовали опасность одностороннего увлечения представлениями о коллективном бессознательном как о «заповеднике длительных процессов» (выражение Броделя). «Это вело к отрицанию созидательных способностей текущего времени, внезапных резких изменений, когда прошлое и будущее как бы сливаются, а настоящее бывает исключительно насыщенным» (Вовель М. К истории общественного сознания эпохи Великой Французской революции. – В кн.: Французский ежегодник. М., 1986. С. 132). Но при этом уже у самого Броделя обозначена идея *множественности времен*: «Любая современность включает в себя различные движения, различные ритмы: «сегодня» началось одновременно вчера, позавчера и «некогда» (Бродель Ф. Цит. соч. С. 129.). «...История мира – не один, но множество потоков» (Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. Том 3. Время мира. М., «Прогресс», 1992. С. 8.).

³⁸ Это сродни идее метаанализа идентичности: характер изменения идентичности сам по себе является одной из черт идентичности данного субъекта. В то же время термин метаистория не надо путать с близкой по звучанию *мегаисторией* (см., в частности: Сандерсон С. Мегаистория и ее парадигмы. – В кн.: Время мира. Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых

Здесь возможны разные векторы воздействия: быстрой истории на историю медленную – или наоборот. Сверхбыстрые, революционные изменения начала прошлого века в России пробудили дикую архаику, казалось бы, умершую, а на самом деле дремавшую в нашем особо коллективном бессознательном. Затем эта архаика воспользовалась новыми, мощными и эффективными технологиями воздействия на массовое сознание. Так, сталинизм в своей конкретно-исторической форме (в отличие, скажем, от ленинизма) был бы невозможен без радио, не говоря уже о массовой прессе. Затем в крупнейшей в истории человечества войне сошлись два тоталитаризма, с одной стороны, одинаково оснащенных новейшим (на тот момент) вооружением и новейшими (на тот момент) технологиями массового поражения сознания, а с другой – взнузданных одинаково архаичными формами политического вождизма и социального помешательства. Уже к концу XX века в мире возникли ядерные державы с допотопной экономикой, достаточно отсталой ментальностью основной массы населения и не самыми цивилизованными наклонностями в верхних эшелонах политики. И наконец, в самом начале XXI века ближневосточный терроризм показал, какие искры высекаются при соприкосновении архаичного сознания с новейшими технологиями, причем даже не самыми разрушительными, а почти безобидными в обычных условиях (самолет).

систем и цивилизаций. Вып. 1. Новосибирск, Научно-издательский центр ОИГТМ СО РАН, 1998). Мегаистория это всего лишь история предельно больших длительностей, в максимуме – от Большого Взрыва до современности. Это не предполагает взгляда «с другого этажа», с метауровня, т.е. анализа *изменчивости изменений* – или *изменения самой изменчивости* (производная).

В нашей ситуации такие соприкосновения также весьма опасны. Тем более, что в России вообще склонны время от времени впадать в ментальную и политическую архаику. Причем независимо от вектора процветания или бедствований. В 1990-е годы общество несколько повзрослело политически. Но уже намек на стабилизацию при минимальной подкормке из средств от сырьевого экспорта обозначил признаки впадения в политическое детство, готовность льстить и кланяться, строго дозируя протест и капризы. В политическом сознании России начала нового века вновь просочились на поверхность свойства и черты архаики с характерной персонификацией власти, упованиями на нечеловеческие качества Отца нации, падкостью на фантастические посулы нового национального величия и готовностью торговать с властью собственной свободой по цене «ниже стоимости активов». Вкус к этому возродился и в самой власти, что при новейших техниках и технологиях воздействия на сознание чревато для общества и страны неприемлемым ущербом.

Сейчас трудно заранее и точно предугадать, как поведет себя общество (по крайней мере, значительная его часть) в условиях кризиса и при хроническом ухудшении положения: начнет ли оно взрослеть, освобождаясь от патерналистского сюсюканья и продажности за конфеты, или все так же будет отводить душу в крике и ломании еще вчера любимых игрушек. В прошлый кризис и перед ним – на излете советского периода – у общества было много поводов и времени, чтобы набираться самостоятельности, критичности и рефлексии. Но теперь все происходит очень быстро, и

люди могут просто не успеть выйти из навязанной им игры, так и остаться в ней – но только сломав правила и в острой ситуации сыграв уже не в поддавки. Для власти это было бы худшим вариантом. И не лучшим вариантом для страны, в которой выплески архаического сознания с примитивными, но сильными реакциями на происходящее ни к чему хорошему не приводили. Нарастивая инфантилизм в обществе, власть сокращает для себя возможности в критических ситуациях разговаривать с обществом «по-взрослому» – рационально и без перехлестывающих эмоций.



Здесь уместно еще раз обрисовать схему соотношения слоев идентичности и скоростей течения времени в этих слоях, тем более, что она практически одинакова при решении задач: а) *понимания* существующей реальности и б) ее *практического изменения*.

Итак, попытка понять некоторое явление, имеющее достаточный исторический масштаб, требует углубления в прошлое (или, что то же самое, в глубины геологии идентичности); причем, чем более основательный исторический масштаб имеет данное явление, тем более далекие экскурсы в связанную с ним предысторию приходится совершать и более глубокими шурфами в толщу идентичности внедряться. Здесь действует принцип, прямо противоположный всякому аналитическому альпинизму: «Назад и вниз!».

То же самое – в случае практического изменения реальной общественно-политической, социально-экономической, культурной и т.п. практики. Чем масштабнее и радикальнее такое изменение, тем более глубокие слои идентичности

приходится затрагивать и тем большие исторические инерции приходится преодолевать.

Таким образом, в обоих случаях (в понимании и в практике) мы последовательно углубляемся в прошлое и в пласты идентичности – и тут же обнаруживаем, что такое углубление часто бывает поверхностным, а значит, не соответствующим масштабу исторической и политической задачи.

Так, сталинизм как явление имеет свою историю – но такую же (причем весьма поучительную) историю имеет и попытка *осмысления* данного явления, его анализа и критики, а также его политической, моральной и интеллектуальной дискредитации.

Сначала сталинизм был осужден как *культ личности*. Процесс шел в несколько этапов и не вполне последовательно, с возвратами, отголоски которых слышны и сейчас. Однако уже в начале «второй оттепели» ставилась задача рассмотреть проблему в формате *сталинизм без Сталина*, то есть как самодостаточную систему, которая, помимо усилий тирана, имела и свои собственные исторические посылы, мотивы, закономерности и характеристики, не сводимые к личности и к личностям³⁹. Уже тогда было понятно, что фигура вождя иногда слишком много на себя оттягивала, мешая понять сталинизм как исторически подготовленное и многим обусловленное историческое явление. Однако традиция персонификации власти возобладала и в деле ее низвержения.

³⁹ См. Б. Орешин, А. Рубцов. Сталинизм: идеология и сознание. В кн.: Осмыслить культ Сталина. М., «Прогресс», 1989.

Далее разбирательство со сталинизмом и в политике, и в науке, и в публицистике демонстрировало классический поступательный экскурс в прошлое – а тем самым и в более глубокие пласты этой социально-политической идентичности. Некоторое время Ленин и ленинизм были главной позитивной альтернативой Сталину и сталинизму. Но уже на следующем этапе оценки в одночасье изменились на прямо противоположные: ленинизм и сама Революция были представлены как прямые предтечи сталинизма (при всей неоднозначности, а местами и конфликтности взаимоотношения этих периодов и идеологий). Далее, будто по инфернальному графику, наступила очередь Маркса, у которого стали выявлять «доктринальные ошибки» – пусть во многом поверхностно и прямолинейно, конъюнктурно и политически ангажированно, но зато вполне в логике поступательного углубления в предысторию идей и явлений. Чуть позже отчасти затронули российский революционаризм позапрошлого века, но без анализа его истоков и смысла, почти на уровне «какая сука разбудила Герцена?». На этом общество удовлетворилось, поскольку были исчерпаны знакомые, идеологически и политически заряженные *персоналии*. В интеллектуальной зоне углубление в историю еще какое-то время продолжалось, но все, что выходило за рамки низвержения пантеона советской идеологии, прежнего общественного интереса уже не вызывало. Европейский революционаризм, Просвещение с его жестким профетизмом, прогрессизм Нового Времени, постсредневековый титанизм и т.д. и т.п., включая проектно-преобразовательный

пафос самой техногенной цивилизации – все это если и переосмыслялось, то в отдельных текстах, не в жизни⁴⁰.

Тем не менее, при всей непоследовательности и ограниченности такого демарша в отношении предыстории, здесь важен сам факт: сознание общества в осмыслении идентичности самоё себя и значимых явлений спонтанно двигалось именно по этой траектории – последовательно, как по ступеням, углубляясь в прошлое, в толщу *идееносных слоев*.

Однако в реальной работе с собственной идентичностью, в практике самоизменения, такой подход выглядит менее выраженным и последовательным. Политика и управление редко всерьез углубляются в толщу изменяемой идентичности, предпочитая работать на уровне событий, в «пыли истории».

Как уже отмечалось, есть явная, во многом закономерная и почти непреодолимая *асинхронность* в изменении идентичности в разных слоях ее эволюции. Поскольку пласты движутся с разной скоростью и в разных временах, история идентичности оказывается историей сплошных отставаний и забеганий. Этот исторический «обоз», как правило, крайне растянут; тылы отстают, авангард то и дело отрывается, в итоге лишаясь простого жизнеобеспечения. Прорывы регулярно закупаются. Отсюда хронические возвраты, «вторые издания», начинания заново и т.п.

⁴⁰ С одной стороны, не было заказа и спроса, поскольку и революционизм, и профетизм, и титанические замахы, и масштабные проектно-преобразовательные установки – все это входило и входит в кредо и новой политической элиты. С другой стороны, критически переоценить эти установки не было достаточных поводов, поскольку скольконибудь серьезного интеллектуального давления на власть со стороны интеллектуального сообщества в этом плане не оказывалось.

Однако важно отделить объективную неизбежность этой асинхронности (вызванную реальной разницей скоростей движения времени в разных слоях) от ее субъективной обусловленности тем, что разницу скоростей в движении пластов не видят, не понимают, не учитывают и на сглаживание такой асинхронности специально не работают.

Вместе с тем, если бы различие быстрого времени поверхности и медленного времени глубинных слоев идентичности было абсолютным, мы имели бы, во-первых, идентичность вечно разорванную, а во-вторых, идентичность, разрывы в которой в истории никогда не сглаживаются и только усугубляются. В действительности же на больших временных дистанциях средние скорости движения в пластах в целом выравниваются, отчего идентичности разных слоев и расходятся, но и сходятся. В результате мера их взаимосоответствия колеблется вокруг некоторого более или менее приемлемого параметра. Изменения в событийных слоях ярки, сравнительно быстры, по историческим меркам иногда практически мгновенны – но редки. Изменения же в рутинных пластах, наоборот, медленны, но постоянны. Более того, событийная история периодически отстает от изменений в глубинных пластах, что и приводит в итоге к скачкообразным, порой революционным сдвигам.

Так, хрущевская оттепель привнесла целый ряд сильных и во многом убедительных изменений событийного уровня, но не успела достаточно затронуть глубинные, рутинные слои сознания и несвободы, укорененной в практиках по-

вседневности⁴¹. Поэтому она была свернута в результате политической интриги сравнительно безболезненно, почти без социальных потрясений и подавления массового политического протеста. И наоборот, во время «застоя», когда в событийных слоях «большой политики» движение было практически заморожено, в нижних, глубинных слоях сознания и бытовой политической культуры продолжало медленно, но необратимо оттаивать то, что не успело оттаять во время хрущевской оттепели. Если анализировать структуры и практики повседневности, микрофизику власти и дисциплинарные техники, работающие автоматически, на рутинном, бытовом уровне, то окажется, что страна вошла в «застой» в одном качестве, а вышла из него совершенно другой. В плане внутренней свободы и защиты частного, «вторая», горбачевская оттепель, конечно же, многое давала обществу, но в целом сама догоняла спонтанную либерализацию коллективного сознания и повседневных отношений. А часто – *не* догоняла. Почему в итоге и перешла в ельцинскую квазиреволюцию.

Сейчас мы сталкиваемся с теми же инерциями глубинных пластов, которые в силу ускорения процесса начинают одновременно работать и против модернизации – но и против политических возвратов, которые модернизацию блокируют.

⁴¹ Вместе с тем, нельзя не отметить, что именно в это время началось расселение коммуналок и переселение граждан в отдельные квартиры, что имело сильнейший социальный эффект в плане разложения коммунального сознания и формирования сознания частного. Как бы мы ни относились к *хрущобам*, к этим «фанерным» пятиэтажкам без лифта, с корявыми планировками и немислимо минимизированной площадью, свою поистине историческую роль они сыграли. Частные пространства в жилой среде формировали частные пространства личности, в сознании и психологии, в самом типе социальности. Но сработало это уже много позже.

С одной стороны, в нашей политической, властной идентичности, в ее рутинных слоях, многое осталось не только от большой российской традиции, но даже и от недоизжитого сталинизма. Так, система массовых репрессий не исчезла, но переместилась из области обеспечения государственной политики в область окошмаривания бизнеса и работы на самообеспечение. Раньше эти структуры шли на запах крови – теперь их модернизированные преемники идут на запах денег. Например, система обязательного нормирования, контроля и надзора превратилась в род предпринимательской деятельности, в «самостоятельную» отрасль экономики. С таким же успехом можно было в тридцатые годы поставить НКВД на хозрасчет и превратить в бизнес, доходность которого зависела бы от числа посаженных и расстрелянных. Во всем этом есть *доля* метафоры: ежедневно и ежечасно система административных репрессий лишает свободы, а в итоге просто убивает множество предпринимательских инициатив, новых видов продукции, перспективных проектов, иногда целые предприятия, а то и отрасли. Если раньше страна держалась на страхе и бесправии, то теперь в страхе воспитывается крупный бизнес, а средний и малый – живет в состоянии все того же бесправия, беззащитности перед лицом административных инстанций. Достаточно того, что непрозрачная, хаотичная, избыточная, местами заведомо невыполнимая нормативная база позволяет на основании действующих норм за двадцать минут закрыть любое, самое правильное и современное предприятие. Более того, здесь разрастается приватный, окологосударственный биз-

нес, когда административные барьеры создаются уже непосредственно под частные, «дочерние» регулирующие и контролирующие предприятия. Что особенно вредно: если обычная коррупция эксплуатирует уже существующие барьеры и изымает статусную ренту с мест, которые нельзя просто уничтожить, околোগосударственный бизнес на регулировании и надзоре вынужден создавать новые, искусственные барьеры, даже в существующей забюрократизированной системе не предусмотренные и не обязательные. На поверхности, на событийных уровнях могут предприниматься сколь угодно впечатляющие акции по борьбе с коррупцией и даже по дерегулированию, но если ничего не делается на нижних уровнях взаимодействия власти и бизнеса, в рутине и повседневности, дело обречено. Проект модернизации будет ограничиваться яркими начинаниями, а рутинная повседневность власти и общества будет съедать эти начинания, неизменно возвращая ситуацию в исходное состояние.

Но с другой стороны, инерции сознания не позволяют резко развернуть общество и в обратную сторону. Во время брежневского «застоя» было почти не видно, как раскрепощалось общество вопреки замораживанию на поверхности. Сейчас, наоборот, несмотря на все признаки замораживания на поверхности, часто не видно, насколько медленнее идет подмораживание глубинных слоев сознания и отношений. Реакции на массированную обработку социальным откатом и СМИ, голосования и лобовые опросы дают картину, которая может быть утешительной для авторитарного проекта. И может показаться, что общества,

которое не так давно легко и бескровно снесло советскую власть, в России больше нет. Однако инерции глубинных слоев имеют силу в обе стороны изменений: общество нельзя бросить вперед только лишь большой политикой – но его нельзя и только лишь большой политикой резко развернуть вспять. В силу тех или иных причин (почти не зависящих от власти) ситуация в событийных пластах может быстро измениться, и тогда недомороженные пласты коллективного сознания разморозят и обрушат искусственные политические конструкции.

ВРЕМЯ ИДЕНТИЧНОСТИ. ПРОШЛОЕ, ДАННОСТЬ, ПРОЕКТ

Итак, специальной проблемой анализа идентичности является ее темпоральный аспект, присутствие идентичности во *времени*. И здесь в разных модусах времени – между прошлым, настоящим и будущим – могут быть самые разные, порой весьма сложные и конфликтные взаимоотношения.

Так, в некоторых основополагающих концепциях идентичности ее важнейшим атрибутом признается наличие у субъекта *памяти*. Именно возможность отождествлять себя сегодняшнего с собой вчерашним служит одним из условий хранения идентичности субъекта. Это внимательно исследуется применительно к идентичности персональной, особенно в психологии, но нетрудно видеть, что такой эффект имеет место и применительно к общностям. Так, идентичность социальной группы, этноса, нации и т.п. обычно связывают с *коллективной памятью* – исторической, культурной, социальной, политической. И наоборот, излюбленный сюжет в описаниях утраты идентичности – забвение собственной истории, корней, заветов предков, традиции.

(Исследование такой *вертикали идентичности* кажется особо продуктивным: если методически грамотно «спускать» закономерности и проблемы политической и культурной памяти из макрополитики и социальной сферы в психологию личности или, наоборот, поднимать подходы к структуре и жизни личности в макросоциальные горизонты, можно найти темы для нескольких сильных докторских и целого ряда кандидатских).

Здесь же, в темпоральном плане, проявляются некоторые интересные *парадоксы идентичности*. Так, идентичность одновременно и континуальна во времени (преемственность), и дискретна: развитие (или регресс) представляет собой смену отдельных, «мгновенных» идентичностей субъекта. И это не теоретический изыск. Как будет показано ниже, отсюда следуют многие вполне реальные, практические и даже морально-политические сложности «опоры на историю». Кроме того, остроту проблемы усугубляет оценка: как уже отмечалось, идентичность в плане развития может рассматриваться и как позитив преемственности – но и как негатив сдерживания назревших изменений.

Практически значимые парадоксы возникают также при попытках осмыслить глубину и непрерывность отождествления с прошлыми состояниями, в частности с памятью субъекта. Хрестоматийный пример из теории памяти: смелый молодой офицер хорошо помнит себя маленьким мальчиком; убеленный сединами генерал помнит себя молодым офицером, но уже плохо помнит себя юношей, тем более ребенком. Можно ли при таких разрывах считать личность идентичной себе, сохраняется ли при этом ее тождество? Можно было бы обойтись простым рассуждением о том, что личность в таких процессах в чем-то и до какой-то степени меняется, а в чем-то остается собой – если бы понятие идентичности не претендовало на полноту и целостность. Но это понятие именно качественное, а не количественное; оно плохо измеряется в процентах тождества и байтах сохраненной памяти, в том числе исторической.

Эта проблема продуктивно переадресуется общностям, в отношении которых обычно и разворачиваются наиболее острые дискуссии об идентичности. Так, если мы попытаемся говорить об идентичности, например, этноса или нации, как о некоем «вечно хранимом», «неизменяемом» ядре их самосознания, мировоззрения, мирочувствия, культуры, характера, нрава, темперамента и т.п., то мы опять попадем в непростую ситуацию. Если у японцев XXI века, в сравнении с японцами XIX века, вдруг окажется 90% отличий и лишь 10% тождества, то что в этом случае придется признать «японской идентичностью»: новое состояние – или стремительно сжимающееся ядро, от которого уже мало что осталось?

Эти умозрительные примеры, иллюстрирующие некоторые теоретические проблемы, реально выводят на вполне актуальную работу с идентичностью. В самом деле, до какой исторической глубины мы должны доходить, снимая слой за слоем прошлое в поисках своей идентичности? Где здесь кончается культурный слой и начинается материк? Позволительны ли в этой *археологии памяти* разрывы и избирательные пропуски? Как, кем, на каком основании и по какому праву даются оценки сменяющим друг друга историческим эпизодам и выбираются те из них, которые должны быть признаны обществом в качестве исторической основы «подлинной» идентичности, в качестве исторического богатства и ресурса нации? Каким образом (и по какой процедуре) та или иная интерпретация прошлого, имеющая так или иначе выбранную глубину и субъективные акценты, принимается в качестве детерминант и нормативов для настоящего и будущего? Наконец, как именно

прошлое используется в качестве таких нормативов и детерминант, где вообще проходит, как и кем проводится граница между *суверенными правами* прошлого и настоящего в их влиянии на нашу жизнь и планируемое развитие?

Острота, а во многом и запущенность этих проблем хорошо видна во многих ставших у нас расхожими рассуждениях о «подлинной» российской традиции и самобытности в области культуры и художественной практики. Так, стало привычным сводить российскую культурную самобытность к этнографической экзотике, причем нередко к экзотике именно старой, часто «допетровской». При этом порождением чужеродных влияний объявляется то, что по происхождению в недавней и современной художественной культуре является как раз «исконно нашим», по месту и по духу. Как в случае с тем, что вне России именовалось и именуется *«русским авангардом»*, бывшим в мировой художественной культуре своего времени признанным *авангардом авангарда*. Объявлять некритическим заимствованием то, что мы сами придумали и подарили миру – неграмотно и нерентабельно. И опасно. Из таких, казалось бы, безобидных традиционалистских построений делаются вполне определенные выводы и относительно более общей, уже не только художественной и исторической, но и «сущностной» идентичности. (Например, в позиционировании России между Западом и Востоком – со всеми вытекающими, вплоть до подсказывания известных, в том числе откровенно реакционных моделей политического, социального и государственного устройства, духовной организации общества и пр.).

После обвала советской идеологии возможность прямого, неидеологизированного и неполитизированного диалога с собственным прошлым на какое-то время стала одной из значимых составляющих духовного и политического раскрепощения. Не случайно среди главных моральных, а отчасти и политических авторитетов того времени оказался историк – академик Лихачев, в диссидентстве не замеченный и особых политических гонений, подобно Сахарову или Солженицыну, не переживший (пребывание на Соловках по понятным причинам не в счет). Но с некоторых пор трудно отделаться от впечатления, что история вновь все более вовлекается в текущую политико-идеологическую работу. Или, как минимум политизируется, особенно в своих популярных, медийных воплощениях. Причем именно в форме иносказания, позволяющего достаточно прозрачно выражать посредством исторических образов и нарративов то, что прямой, открытой политической речью пока не очень выговаривается. В этих иносказаниях, если называть вещи своими именами, сквозит тоска по brutальной имперской силе и помпезной великодержавности, византийщине, авторитаризму и жесткой, подавляющей централизации, ностальгия по сакрализации власти и ее подобострастной персонификации, по разного рода культам, государственнической гордыне и административно-му высокомерию. Наконец, по «железной руке», которая поглаживает и одаривает равноприближенных, одновременно «кошмаря» и выбирая равноудаленных⁴².

⁴² Это, кстати, хорошо видно и в экономике, и в том, как могут группироваться при авторитарной власти патриотически озабоченные и традиционалистски ориентированные деятели искусства, творчество которых в бо-

Общество усматривает здесь определенно направленные тенденции, хотя и гадает, являются ли эти историософские штудии вкупе с соответствующими художественно-публицистическими откровениями прямым заказом от власти или же это пока результат угадывания еще только предполагаемых настроений начальства, его идейно-политического вкуса. Но в любом случае возникает видимый разрыв в идентичности политического образа страны. Византийщина и секулярный монархизм в демократической упаковке в качестве официальной идеологии и политической доктрины с точки зрения действующей Конституции и политического законодательства заведомо нелегитимны и просто нелегальны, неконституционны. К тому же они никак не подходят «на выезд», для цивилизованных внешнеполитических контактов и построения приличного внешнего образа страны. Поэтому напрямую предлагать власти подобный политический проект и соответствующий ему «костюм» не всегда получается. Кроме того, прямое озвучивание таких политических проектов пока еще может вызвать в стране погромную критику. Отсюда более или менее прозрачное иносказание, почти эзопово – если бы не щедрые ресурсы и прайм-тайм на телевидении (например, воодушевленные повествования о том, как византийские правители подминали под себя власть, заодно с современными им олигарха-

лее либеральное время расценивалось творческой интеллигенцией не иначе как салонный китч. Этим людей сторонились за умение раскрашивать, но неумение рисовать (при всем фотореализме), за стилистику индийского кино в русской живописи и скульптуре. *Подделки под свободу в политике притягивают подделки под традицию в искусстве.*

ми). Сюда же можно приплюсовать *очевидный дефицит* отражения того прогрессивного в нашей исторической, культурной, интеллектуальной традиции, что по мысли, духу и эстетике соответствует образу, который у нас номинально закреплен в качестве политической идентичности страны и регулярно, на высшем уровне подтверждается в текстах, имеющих политический, идеологический и доктринальный статус. Проще говоря, проблема даже не столько в известной трансляции расправ с византийскими олигархами, сколько в том, что такое кино не имеет противовеса, более того – самого эфирного «места» под такой противовес. Не говоря о заказе. Если нынешний президент заявляет, что свобода всегда лучше несвободы, то где в идеологически значимых передачах на центральных каналах телевидения хоть что-то, что восславило бы свободу, а не призывало добивать падших?

Опасный век, недобрые какие-то сердца...



Расставание с советской идеологией сопровождалось массовыми призывами *эмансипировать прошлое от настоящего*. Предполагалось, во-первых, освободить прошлое от идеологических искажений и политических тайн, а во-вторых, вернуться к нашей «подлинной» исторической идентичности. В период обвальной деидеологизации и политического безвременья многое в плане расчистки идеологических нагромождений и заполнения пустот в истории все же состоялось. Но затем маятник качнулся в обратную сторону, пока еще с малой, но уже заметной амплитудой. Не дожидаясь возврата к более brutальным историческим

спекуляциям, впору ставить вопрос об *эмансипации настоящего от прошлого*, от его новой мифологизации. Если нас продолжают пугать образом «Ивана, не помнящего родства», то, не впадая в безродность, надо все же отчетливо представлять себе, кого именно нам прочат в ближайшие родственники из прошлого и куда такое родство реально ведет. Историческое изложение это всегда *код*, который необходимо раскодировать, «распаковать».

Прежде всего, такая «распаковка» нужна, чтобы четко увидеть проектируемое настоящее и будущее в том прошлом, которое предлагается в качестве «подлинной» идентичности и продолжаемой традиции. Иными словами, речь идет о том, чтобы вскрыть современный проект, маскируемый «историей» – ангажированными историческими оценками и нарративами. Вообще говоря, это не безмерно сложная (хотя и по-своему опасная) задача – откровенно прописать современным профессиональным языком, в современных понятиях и логиках тот геостратегический, общественно-политический, социально-экономический, культурный и т.п. проект, который прячется в предлагаемой ретроспективе, в поднимаемой на щит версии нашей истории и национальной традиции. Из этого общего проекта также достаточно легко и убедительно выводятся вполне конкретные изменения в геополитике, внутривластном курсе, в системе управления экономикой, социальной жизнью и т.п., о которых уже мечтается, но которые пока еще официально артикулировать считается неосторожным. Это было бы особенно показательно, поскольку услужливые интерпретаторы истории сами подчас почти открыто, с тро-

гательной непосредственностью проговаривают свои политические идеалы и мечтания.

Такая расчистка проектов из-под оболочек исторического повествования нужна не только чтобы «идентифицировать идентичность», которая в качестве нормативной предлагается настоящему через образы прошлого, но и чтобы идентифицировать наше *политическое настоящее*. Проблема здесь в том, что, как уже отмечалось, *номинальное и реальное* в нашей государственной системе, политике, экономике, социальной сфере и т.п. – это все достаточно разные идентичности.

Ключевыми здесь являются слова «мы строим». Если что-то строят, значит, этого еще нет, по крайней мере, в достаточном объеме. Но по Конституции мы уже: демократия, в которой народ является единственным сувереном и источником власти; правовое общество, в котором верховенствует власть Закона, гражданам предоставляются равные возможности и ничьи права не ущемляются; государство политического плюрализма с прямым запретом на монополизацию политики и т.п. С точки зрения жизни любая стройка – это существенно другая идентичность, чем законченное здание, даже если в нем «всего лишь» сквозят окна, в решающие моменты отказывает оборудование, а крыша «крышует» не то, что положено проектом. В этой *переходной* идентичности (а мы себя все еще и мыслим как переходное общество, как общество «транзита») все очень неустойчиво, ненадежно, а главное, обеспечено многочисленными индальгенциями на связанные со стройкой неудобства. А поскольку эти индальгенции не оформляются,

а только расплывчато подразумеваются, они санкционируют практически любые объемы недоделок и любые сроки их устранения. Таким образом, мы имеем: хороший проект Демократии, Права и честного Рынка, но *в будущем*; бурную стройплощадку, в пыли и шуме которой мало что видно и мало кого слышно – но зато *в настоящем*; жизнестроительную традицию *в прошлом*, но по-разному толкуемую и все чаще тянущую прочь от прогрессивных качеств утвержденного проекта. Поэтому в околоофициозных описаниях национальной традиции и надо проявить *скрытые переделки* проекта – чтобы эти описания не создавали еще больше пыли и не ухудшали слышимость.

Другая сторона эмансипации настоящего от прошлого заключается в понимании самобытности как возможности свободно реализовывать свою самость в настоящем. Выше уже предлагалась формула самобытности как возможности «быть самому», причем в каждый момент переживаемого времени. Быть *самому* – это значит не подчиняться *другому*. Самобытность обычно и толкуют как неподчинение чужеродным влияниям. Но при этом источники такого влияния почти без исключений трактуются географически, «по-соседски». Однако не менее чужеродным для настоящего может быть тот или иной эпизод из прошлого своей же страны. И наоборот, опыт других стран и народов может в какой-то момент оказаться ближе собственной традиции. В конечном счете, это всегда результат оценки и выбора. Чужая «Пражская весна» на данном этапе политического и нравственного развития может оказаться нам много ближе родного сталинизма. Строго говоря, в этом плане у нас нет

никаких моральных обязательств перед собственной историей; мы не обязаны делать скидки только на то, что это «наше». Скорее наоборот, у истории есть моральные обязательства перед нами. Она обязана быть жесткой в самооценках и уметь самым безжалостным образом осуждать то, что является национальным позором, тянет назад, лишает перспектив.

Другая опасность в обращении с традицией – ее музеефикация, умерщвление в настоящем. Это хорошо видно на примере возрождения традиционной иконописи в России. В результате избыточно строгого отслеживания канона (не говоря уже о более прозаических причинах) сплошь и рядом возникают заведомо мертворожденные подражания, когда традицией не живут, а формально ее воспроизводят. В результате появляются зализанные новоделы, не умеющие стареть – но при этом демонтируются действительно живые и свежие работы в церковной архитектуре и монументалистике, хотя в них живой традиции оказывается куда больше. Живая живопись подменяется традиционалистским макияжем. То же нередко проявляется в неумеренном декорировании всего и вся в стиле «а ля рюс», неприлично развесистом, в отличие от известного стиля конца XIX – начала XX века (хотя даже тот назывался *псевдорусским*).

Во всех этих и им подобных ситуациях недостаток вкуса и обычная бездарность сложно сочетаются с реальной невозможностью воспроизвести в доскональном, но живом виде многие качества ушедшей традиции. Художественная культура дает здесь урок, значимый, возможно, не только

для искусства. Уважение к своему прошлому состоит не в том, чтобы выкапывать и заново раскрашивать покойников.

Все это особенно важно для нации, которую не без оснований называют *историософской*.



Выход из коммунистического проекта сопровождался еще одним освободительным актом – *эмансипацией настоящего от будущего*. Как только в идеологической цензуре сделались послабления, одной из первых была распубликована идея о том, что стране пора уже перестать регулярно жертвовать настоящим во имя будущего, что пора научиться, «как все нормальные люди», жить сегодняшним днем, а не в вечных проектах, какими бы многообещающими они ни были. На тот момент это была сильная крамола: она била коммунистическую идеологию в одно из ее самых солнечных сплетений.

Здесь сразу проступают два интригующих момента: один тактический; другой почти субстанциальный.

Устремленность в проект, во-первых, позволяет ввергать общество в очередную мобилизацию, а во-вторых, дает власти универсальное и долгое алиби, списывая неустроенность и тяготы (а с ними и собственные провалы) на фазу строительства, обычно нескончаемого. Отнять такой проект – значит не только лишиться идеократию этих главных опор, но и дискредитировать ее бессмысленностью прежних жертв, ошибочностью и даже безнравственностью обращения с современниками как с «материалом для будущего».

Однако в этой жертвенности во имя проекта, как в капле воды, отразились и другие черты традиционной российской

идентичности: 1) повышенная идеологичность, готовность ввергаться в эпохальные, хотя и сомнительные предприятия, падкость на духоподъемную риторику и посулы, наконец, просто доверчивость; 2) ведомость, низкая самооценка и предрасположенность к земным культам; 3) униженность перед лицом государства и власти, вообще всякого начальства, несамостоятельность и вторичность Лица. Без всего этого не загнать огромную страну в теплушки, стартующие в якобы светлое будущее. Но тогда справедливо и обратное: идея отдать должное настоящему немало подрывает массовую идеологичность, снижает уровень стадности, выдвигает с заднего плана приватное и ведет к десакрализации власти, ставя ее в ответственное положение. *Признание ценности настоящего автоматически повышает ценность человека* – уже даже не поколения! И одновременно опускает на место власть (поскольку всякий Большой Проект – всегда прерогатива государства).

Это усвоили. Тем более что такое настроение вызревало давно и даже оформлялось. Тогда в нашей идентичности это буквально прорвало⁴³. Реформаторам начала 1990-х пришлось обещать народу, страстно захотевшему настоящего, что реформы дадут эффект в ближайшем будущем. Даже сейчас трудно сказать, в какой мере здесь сочетались собственные иллюзии, искренние заблуждения – и ложь во

⁴³ При первой возможности эта идея сразу вышла далеко за стены кулонной политологии. Один из мультфильмов конца советской эпохи, так и назвался: «Завтра будет завтра», а рефрен его главной песенки звучал и вовсе вызывающе: «Нет, нет, нет, нет! Мы хотим сегодня! Нет, нет, нет, нет! Мы хотим сейчас!».

спасение. Как бы там ни было, новому изданию гайдаровцев постоянно напоминали, что никакое «завтра» уже не пройдет, будь оно трижды в алмазах.

Но вместе с тем, как ни парадоксально, в этом самом настоящем сразу хотелось не того, что было реально возможно, а именно мгновенного *воплощения Проекта*. Оценивать настоящее в сравнении с тем чудовищным и катастрофическим, что могло бы быть, никому в голову не приходило. Толком это не приходило в голову и власти. Недавно Е. Гайдар признался, что самой своей нелюбимой чертой считает «отсутствие красноречия». Но это была черта и всего его *правления*, порой в диапазоне от косноязычия до немoty. Хотя здесь сошлись и субъективное, и объективное: провал гуманитарной составляющей политики как следствие инженеризма (см. Введение) – и реальное «нечего сказать» в условиях, когда по правде из хорошего сказать было действительно нечего. В итоге сыграли в молчанку с народом, для которого одно из главных: «А поговорить!».

Новое правление в этом отношении оказалось в крайне выгодной позиции. С одной стороны, оно пожинало плоды и ближайшие следствия той стабилизации, которая уже начиналась и прямо вытекала из предыдущего периода, а с другой – оно в полной мере эксплуатировало фантастические доходы от сырьевых продаж. Это позволило «подкормить настоящее». Даже при том, что новая официальная идеология и в пропаганде, и стратегическом планировании явно увлекалась картинками будущего (правильнее их было бы назвать «полотнами», «панорамами», рисующими феерические прорывы России на мировой арене в экономике, в

международной политике, в научно-технической сфере и в качестве жизни), это не вызывало массового отторжения – причем во многом именно потому, что настоящее было «прикормлено». Даже так называемые «национальные проекты» были не совсем проектами (в строгом смысле этого слова), а скорее распределением средств в реальном времени.

Теперь панорама будущего на глазах схлопывается. Картины Великого Прорыва, вставания с колен и разбега перед почти вертикальным взлетом с самого начала были избыточно яркими⁴⁴. Это во многом объяснимо тем, что они были едва ли не главной частью предвыборного пиара конца 2007 – начала 2008 годов. Но теперь перегретые ожидания, наложившиеся к тому же на кризис, рикошетят по власти, причем скорее даже именно по правительственному блоку. В этой ситуации власть оказывается зажатой собственными привязками и преданностью настоящему, невозможностью вернуть общество к идее мобилизации во имя будущего. Причем даже не во имя светлого будущего, а просто ради выживания. Риторика «острова стабильности» в «тихой гавани» изобразила мягкую посадку из взлета в кризис, но верность обязательствам (прежде всего социальным) перед настоящим продолжает оставаться главным рефреном. Пока неясно, ждет ли и эту риторику судьба «тихой гавани»,

⁴⁴ Как ни парадоксально, они были не столько принадлежностью предвыборной кампании преемника, сколько пиаром президента уходящего. В момент передачи власти «из рук в руки» во всю мощь разворачивалась «предвыборная» кампания того, кто не избирался, но должен был во многом остаться во власти реальным центром. Соответственно, величие начинаний помогало подать преемника как «продолжателя дела».

но ясно, что эти позиции будут сдаваться последними. Именно потому, что они последними реально и являются⁴⁵.

Но главная проблема заключается в другом. За этим и в самом деле преходящим мировым кризисом маячит другой – обвал сырьевой экономики вкупе с провалом в собственном производстве (а значит, также в инновациях и наукоемком хайтеке). В условиях крайне тяжелой и агрессивной инерции эта перспектива настоятельно, категорически требует Проекта, даже Мегапроекта – при всех опасениях и ожиданиях худшего от такой формы работы с будущим. Как войти в такой проект не нагнетая регулирования (точнее, прямого руления), а наоборот, расковыная зажатый потенциал нации? Как не ограничить пространство маневра и не залезть в «приватное пространство других поколений» (С. Чижков)? Это проблемы одновременно и концептуальные, и организационные, управленческие. И политические.

А во многом и социально-психологические: как войти в модернизацию через мегапроект в условиях, когда перед этим целый век набил оскомину от будущего?...

⁴⁵ Тут можно только посочувствовать. В любом кризисе главная установка (причем установка именно для всех): ужаться сейчас, чтобы выжить и заново стартовать завтра. Но это – Проект. А впечатление такое, что страна только и ждет, что ее снова начнут *кормить завтраками*. И заранее готовит резкий ответ на это виртуальное питание. Кризис приходится проходить практически без ресурса призывов к антикризисной мобилизации и временным жертвам. Это трудно.

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КАК СМЕНА ИДЕНТИЧНОСТИ. МЕГАПРОЕКТ⁴⁶

В складывающейся ситуации разговор о намечаемых изменениях имеет крайне напряженный характер.

Прежде всего, явно недооценивается глубина требуемых изменений. Ставшие затертыми формулировки: «избавление от нефтяной иглы», «преодоление зависимости от экспорта сырья», «инновационное развитие», «экономика знания», «наукоемкие производства», «высокие технологии» и т.п. в сознании общества уже мало что отражают. Все это воспринимается скорее в духе привычных лозунгов научно-технического прогресса, подъема производства и пр. На самом же деле, как уже отмечалось, смена вектора с сырьевого на инновационный означает, по крайней мере, в наших условиях, *кардинальную смену идентичности* – экономической, политической, социокультурной, а главное ментальной. Эта задача по своим масштабам и сложности ничуть не менее эпохальна, чем обуздание рынка и построение плановой экономики или, наоборот, построение на развалинах плановой экономики хоть какого-то подобия цивилизованного рынка. В ряде отношений такая задача даже более масштабна: здесь предстоит сломать многие вековые традиции в стране, которая раньше вывозила лён, пеньку и лес, а теперь занимается экспортом углеводородов

⁴⁶ Подробнее см.: А. Рубцов, С. Богословский. Мегапроект для России: идеология, стратегия, курс. М., 2007; А. Рубцов, С. Богословский. Мегапроект. О формате и контурах стратегии национального развития, М., 2008.

и металлов, то есть ровно тем же самым – при всех модернизациях нашего выдающегося топливно-энергетического комплекса. Как будет показано ниже, экспортно-сырьевая ориентация – это отнюдь не только тип экономики, но и во многом предзаданная социально-политическая система, достаточно определенный способ взаимоотношений между государством и властью, с одной стороны, и обществом и людьми – с другой.

Далее, эти требуемые изменения будут (если будут) происходить в мире, который в этом отношении сам стремительно меняется. С нашей привычной уверенностью в том, что неровная, но счастливая российская натура всегда позволяла и впредь будет позволять вдруг собираться и наворачивать упущенное, мы можем вовсе выпасть из инновационного будущего (как уже во многом выпали из инновационного настоящего). Поэтому предстоит менять не только свои обстоятельства и свою природу, не только то, что мы есть, *но и то, как мы привыкли изменять себя*. В традиционной российской идентичности изменений требует сама парадигма отношения к ситуациям, историческим задачам и техникам самоизменения. В том числе в плане пересмотра эффективности в современных условиях разного рода спасительных мобилизационных прорывов, проектов, рисуемых из головы или по совету заинтересованных экспертов и реализуемых в режиме пресловутого ручного управления. То, как мы сейчас входим в модернизацию, во многом гарантирует ее провал уже самой методой затеваемых изменений.

Наконец, эта требуемая смена идентичности имеет теперь совершенно другую *меру императивности*. Теперь это в самом прямом смысле слова вопрос существования – по крайней мере, для той России, какой она привыкла ощущать себя в мире и как целое. Разговоры про то, что Россия либо будет великой, либо ее не будет вовсе, напыщенны, риторичны и опровергаются данностью. Но если задача смены вектора развития не будет решена, страну ждет не просто прозябание в прежней идентичности, а болезненные изменения даже той идентичности, какая есть сейчас, причем в крайне нежелательных направлениях.

Ситуация уже меняется. Засилье советской идеологии и тотального планирования выработало в обществе стойкое неприятие всего «программного». Однако последнее время отмечено повышенной активностью в поиске доктринальных идей и особо крупных решений. В официальные тексты возвращаются идеологичность и стратегические горизонты. В обществе это уже не вызывает явного и массового отторжения (как это было на излете коммунистического проекта или в эпоху ельцинского правления). Восстановив позиции в текстах власти, идеология вновь прорастает в рабочие программы, реализуемые государством с массивным использованием политических, административных и финансовых ресурсов. Это принципиально: страна, в которой идеология возможна не только в текстах, но и в реализации, «в материале» – уже *другая страна*, другая идентичность. С возвратом идеологии и техник ее «материализации» *происходит глубокая трансформация режима без изменения правовой формы*.

Ситуация неординарна в целом ряде отношений

Во-первых, даже в этой форме намеченная стратегия смены вектора развития – не рядовой план действий. Это именно Большой Проект и проект именно *самоизменения* – план другой страны. Переход от сырьевой экономики к инновационной, превращение «человеческого капитала» в главный ресурс развития, создание конкурентоспособного государства на основе реально работающего права – все это задачи *исторические* в самом строгом смысле слова.

Во-вторых, перед кризисом в стране уже начала складываться большая рабочая конструкция, в которой доктринальные установки передаются в пошаговые программы, а далее в оперативное планирование и систему практических приложений. Уровень влияния смыслов на ресурсы в этой вертикали уже выше среднего (независимо от качества такого влияния). Это делает идеи потенциально реализуемыми (хотя и неизвестно, с какими результатами), но зато и реальность на выходе становится идеологичной.

Связка большого проекта с заряженной рабочей конструкцией – явление особенное и редкое. Ситуации, когда планы больших маршевых переходов обеспечиваются сконцентрированными ресурсами, известны в истории как режим *мегапроекта*⁴⁷. Масштаб формулируемых целей,

⁴⁷ В этом контексте мегапроект понимается как специфическая, особо плотная сборка идеологии и стратегии, тактического и оперативного планирования, «машины воплощения». Без спецификации данного явления оно не схватывается как целое, а его решающие особенности остаются вне поля зрения. В стандартных ситуациях стратегии не выходят из своей функциональной ниши. Когда же они пронизывают вертикаль программирования и реализации при наличии огромного исполнительного

уже задействованных мощностей и стянутых стратегических резервов свидетельствует о том, что страна близка к тому, чтобы войти в такой режим. Кризис еще более ускорил наращивание государственного вмешательства в процесс. Режимы мегапроекта имеют особые возможности, но и чреватые крайне неоднозначными последствиями.



Мегапроекты – предприятия, решающие сверхординарные задачи, но с очень высокими рисками. Стартуя в поле открытых возможностей, они часто заводят в исторические тупики. Велика опасность подмены целей и средств, цена ошибок и злоупотреблений. Как уже отмечалось, в сочетании с современными технологиями воздействия на общество такие риски стали критичными, что вызвало пересмотр самих оснований техногенной цивилизации: фундаментальную критику «инженеризма», проектного и технократического мышления, культ самоорганизации и саморазвития. Что, однако, не отменяет сохранения политической и технической возможности их запуска. А иногда и необходимости.

Уровень риска зависит от мотивов: субъективных (передел власти и собственности, амбиции «верхов» совпадают с ожиданиями «низов») или объективных (страна оказывается перед историческим вызовом, игнорировать который недопустимо). У России такая комбинация только что была

потенциала, возникает новое качество: стратегия вырастает в мегапроект, что, в свою очередь, является особым историческим состоянием, со своими возможностями и рисками. В этом смысле мегапроект примыкает к таким категориям, как революция, эволюционное движение, спонтанное развитие, плановый переход и т.п.

на руках: большие проекты логичны для консолидированной власти при переполненной казне, а задачи ликвидации зависимости от экспорта сырья и выхода в инновационное развитие уже были приняты как вызов времени и даже императив выживания⁴⁸. Теперь казна оскудела, но вызов времени остался.

По уровню исторических претензий это больше реформы – это заказ на *новый базис*, на *смену идентичности*. Соблазны ручного управления здесь наивны и опасны: задача решается не запуском ряда централизованно управляемых проектов, а только опережающим изменением отношений в обществе и самой институциональной среды.

Более того, в наших условиях эта задача вообще не решается стандартными методами. Выход перекрыт теневым конфликтом: две принципиально разные экономики (сырьевая и инновационная), сожительства в одной стране, вынуждены делить общую институциональную среду (систему права и правоприменения, управленческие схемы и практики, экономику администрирования и стиль руководства). При этом сырьевая экономика произвольно питает среду, для несырьевой экономики вредную, а для инно-

⁴⁸ На расширенном заседании Государственного Совета 8 февраля 2008 г. в официальном тексте впервые прозвучали слова о том, что речь идет «о самом существовании» страны, причем «без всякого преувеличения». Однако этот пассаж не взорвал аудиторию и даже не вызвал уточняющих вопросов. Видимо публике, а возможно, и самим говорящим нужны время и более сильные встряски для осознания того, что все это уже не форсированная риторика, а реальная оценка перспективы. Не исключено также, что в словах о «самом существовании» слышится риторическое преувеличение, а потому их просто пропускают мимо ушей.

вационной губительную⁴⁹. Конфронтация на этом поле уже есть: назревшие реформы тормозятся не только инерцией, но и активным сопротивлением. Переход от сырьевой экономике к инновационной достаточно революционен, чтобы вызвать элементы своего рода *гражданской войны за государство*.

Конфликты за места общего пользования сами не рассыпаются. Нужны неординарные меры. В противном случае в борьбе за качество институциональной среды наросты распределительной экономики будут регулярно побеждать, пока она сама не начнет давать сбои и рушиться. В этом сценарии полноценная несырьевая альтернатива может начать свободное развитие только с момента, когда она уже потребуется на замену и в полном строю.

Это еще одна *историческая ловушка*. Для выхода из нее необходимы сверхординарные интеллектуальные, политические и организационные усилия. Если мегапроект будет решать именно такие задачи – создавать условия для деятельности, и, что особенно важно, для проведения самих реформ – он может сработать (если его не перехватит «машина инерции» и он не обернется наращиванием регулирования).

В этой ситуации возможные издержки «большого планового перехода» весьма высоки, но они ниже издержек пассивных сценариев. Мегапроект становится вынужденным риском.

Это плохо, но таково наше положение.

⁴⁹ «Продуктами» экономики, основанной на сырьевом экспорте, в нашей стране являются: плохо контролируемое разрастание машины перераспределения, монополизм и подавление конкуренции, массовая коррупция, бизнес на регулировании и административных барьерах и пр.



Вызов времени может быть либо шансом, либо угрозой. Шансом можно не воспользоваться, но на угрозу отвечать необходимо⁵⁰.

Как уже отмечалось, пока угрозы воспринимаются вяло: в худшем случае инновации окажутся не самыми новыми, темпы роста и благосостояния – ниже прогноза, место в мире – менее амбициозным, чем обещано. Вместе с тем, на уровне большой политики и ответственной экспертизы уже есть более строгие оценки. В случае неудачи институциональных реформ страна в той или иной временной перспективе может оказаться на грани полномасштабного кризиса. Если серьезные проблемы, а тем более срывы в сырьевой экономике начнутся раньше, чем несырьевой сектор выйдет на требуемые рубежи, следствиями такой несостыковки во времени могут быть:

- откат в мировых позициях по основным экономическим и силовым показателям; свертывание активной внешней политики; сокращение претензий в отстаивании геостратегических интересов страны в обмен на внешние заимствования, необходимые для предотвращения обвала и поддержания минимальных параметров внутренней стабильности;

- провал инновационной стратегии, консервация технологического отставания; срыв крупных исследовательских

⁵⁰ У нас это соединилось: прямая угроза еще только проявляется, но ответ на нее уже предложен в виде уникальной исторической возможности. Иногда именно бегство от опасности дает рывок вперед. Для России это привычно: здесь чаще просыпаются, не когда труба позовет, а когда пелух клонет.

и оборонных проектов; новый исход наиболее креативной части населения («человеческого потенциала», на который делается ставка); перехват не доведенных и не внедренных результатов мировыми конкурентами;

– остановка роста ВВП по линии сырьевого сектора и всего, что связано с обращением доходов от сырьевых продаж, начиная с услуг и заканчивая финансовым сектором («отрицательный мультипликатор»); далее – общая затяжная рецессия;

– критическое снижение темпов обновления ввозимой сложной техники, в том числе задействованной в управлении государством и инфраструктурой, а также в оборонных целях;

– потребительский кризис, вызванный дефицитом товаров, завязанных на импорт; свертывание социальных программ с последствиями для политической стабильности, вплоть до открытых конфликтов разрушительной силы;

– размывание накопленной интеграции; возникновение конкурирующих центров притяжения в регионах; новая фаза сепаратизма, вплоть до перспективы дезинтеграции страны и утраты суверенитета.

Это крайние варианты, но их вероятность, как минимум, обсуждаема, а значит, не исключена. Программа-минимум обязана такие сценарии надежно предотвращать. Кроме того, жесткие сценарии – это психологический «кнут»: на одних «пряниках» страна необходимой скорости может не набрать.

На другой чаше весов – уникальный для России исторический шанс.

До сих пор страна продвигалась к свободе и убегавшей от нее современности догоняющими рывками, сменявшимися откатами в отставание и диктатуру. По графику этого «маятника модернизации» опять необходим рывок. Чтобы не отстать навсегда, он должен быть интенсивным. Через некоторое время не вошедшие в инновационный поток страны уже не смогут компенсировать отсталость богатством природы. Падение в «третий мир» для России вряд ли может пройти мирно и без последствий для целостности.

Нет выбора и в идеологии рывка: в новом мире схема «подданные на службе у государства» на дистанции и в целом безнадежно проигрывает модели «государство, обслуживающее граждан». Патернализм более не конкурентоспособен. Нужен последовательный переход к системе отношений, в основе которой Свобода и Право. Без этого невозможно выбраться из колеи сырьевого придатка. Это требует особого напряжения: исторические задачи приходится решать как оперативные.

Положение двойственное: фантастическая сырьевая конъюнктура долго сдерживала реформы, но и вызовы времени таковы, что более жестко мобилизовать на глубинные изменения невозможно. В плане текущих реалий положение для реформ – хуже не бывает, а с точки зрения требований перспективы – лучше не придумаешь. Почти все нужные слова сказаны, планы сверстаны. Если страна за такую долгую историю не смогла обрести свободу, чтобы жить, теперь остается ее принять, чтобы выжить. Тогда есть шанс однажды выяснить, на что в действительности способен народ, если ему не мешать отсталым менеджмен-

том и паразитарными обузами. И тут может оказаться, что мы действительно прячем от себя и мира «русское чудо».

Если же возобладают остаточные порождения «сырьевого благоденствия», небольшая, но отчетливая историческая возможность сделать страну по-настоящему свободной будет упущена, не исключено, что навсегда. Если даже в таком историческом контексте не удастся разорвать цикличность бросков к свободе и откатов в реакцию, общество окажется надолго деморализованным, что хуже потерь в экономике и «железе». Умеренный исторический оптимизм внушает уже не «авось», а «некуда деваться».



Принято считать, что верная постановка задачи – уже полдела. И наоборот, ошибочная постановка делает задачу нерешаемой. Поэтому прежде чем говорить о предстоящей смене идентичности, необходимо адекватно оценить идентичность существующую, правильно выделить в ней главные проблемы.

Формула «переход от сырьевого вектора развития к инновационному» в плане постановки задачи несколько неточна, но этого «несколько» может как раз и хватить на то, чтобы дезориентировать и себя, и общество. В этой формуле пропущена *середина* – обычные производства, в том числе не относящиеся к высоким технологиям и собственно инновационному сектору. Строго говоря, сырьевой экономике противостоит экономика не инновационная, а просто *производящая*. Проблема не в том, что мы почти не производим инновационной продукции; проблема в том, что мы, во-первых, вообще мало чего производим, а во-вторых, так

и продолжаем терять проекты, производящие компании и целые отрасли. *А если нет производства, некуда внедрять и инновации* – даже если они будут в изобилии изобретены. Речь, таким образом, идет о *создании экономики, генерирующей инновации, а не о генерировании инноваций для их мучительного внедрения в экономику.*

Конечно, в современном мире сами понятия производства и инноваций все более сближаются. В условиях открытых рынков имеет смысл производить только конкурентоспособную продукцию, а таковой является в основном продукция инновационная. И все же для России сейчас главная болевая точка и, соответственно, отправной пункт решения проблемы в другом. Страна, плохо делающая простое и старое, может делать сложное и новое в лучшем случае в качестве экспонатов на выставке достижений.

Кроме того, внедрять инновации «через колено» или все же создавать условия для восстановления производств, для *реиндустриализации* – это существенно разные, хотя и взаимосвязанные задачи. Здесь требуется достаточно разный инструментарий, разные техники работы, выход на разные исходные проблемы общества. И это разная этика отношения к делу: заниматься инновациями приятно и престижно; убирать завалы на пути восстановления собственно производства – дело тягостное, не дающее быстрых эффектов, а то и просто окунающее в грязь.

Это тоже наша идентичность, наш характер: удивлять мир, стараясь при этом не замечать и не показывать позорящее, делать шедевры в нищете и грязи. Если с этим не разобраться, мы при гигантских затратах ресурсов, времени

и надежд получим не экономику знания, а ее дорогостоящую демо-версию. Это тоже будет вполне в духе наших традиций: в свое время мы получили нобелевскую премию за работы в области лазерной физики, но технологические лазеры до сих пор покупаем за границей, а отдельные модели производим «цельнотянуто» и в единичных экземплярах. Вкладываясь в науку и высокие технологии при нерешенности этих проблем, мы, по сути, сами же поддерживаем наших мировых конкурентов, вполне успешно осваивающих наши достижения. У нас производство умов и открытий – тоже сырьевая отрасль. Если с этим в себе не разобраться, символами российских достижений так и останутся подкованные блохи, «бураны» и наш специфический по дизайну и качеству автопром.

Отчасти этот торжественный пафос в понимании выхода на инновации объясним условиями появления самой идеи. Инновационная стратегия разрабатывалась не в режиме регулярной работы, а под проект передачи президентской власти «из рук в руки». Во-первых, преемник должен был в любом случае выполнять эпохальный план предшественника, а для этого такой план должен был быть и он должен был быть именно эпохальным (что счастливо совпало с условиями реальной задачи, которая, как выясняется, даже более эпохальна и императивна, чем виделось в Стратегии). Во-вторых, план должен был работать на предвыборный пиар, да еще в эстетике успеха, а значит должен был быть величественным, повествовать о высоком, интеллектуальном, современном, модном и эстетически привлекательном. Стандартная схема: «ум, красота и скромность – вот три моих главных достоинства».

Другая сторона проблемы – сложность и неприятность сопутствующих задач при понимании, что без создания нормальных условий для выживания обычного производства заниматься инновациями бесполезно. И дело даже не в том, что придется на совершенно другом уровне, с другими затратами энергии и с другой ответственностью за результаты заниматься: завалами административных барьеров; не просто коррупцией, а еще и почти легальным околоадминистративным бизнесом, который конституирует саму экономику бюрократии; монополизмом и борьбой с подавлением конкуренции – причем как раз из тех зон, которые этот монополизм и производят, которые конкуренцию целенаправленно душат. Дело в том, что решением больших и красивых проблем можно заниматься, не производя сколько-нибудь серьезных изменений в существующей государственной инфраструктуре и политической системе, тогда как для решения «маленьких» и «рутинных» проблем необходимы огромные усилия и серьезные изменения в политике. К тому же – под всем понятные и очень жесткие критерии сделанного или, наоборот, не сделанного.

Это еще одна ловушка. Сырьевым экономикам демократия не показана или, как минимум, необязательна (Средний Восток, Латинская Америка). Демократия органична и укореняется в странах, где национальное достояние создается производительным трудом граждан, их усердием и умением, наконец, их живым интересом. Здесь человек ценен, его берегут как главный источник богатства. Для большой ресурсодобывающей страны демократия не необходима, как, впрочем, и значительная часть населения. «Лишние» люди становятся помехой. Чем меньше в стране активных, само-

стоятельных людей, тем проще власти управлять и богаче. В таких ситуациях власть не испытывает благодарности к людям за производимое ими национальное достояние; наоборот, предполагается, что люди должны испытывать глубокую благодарность власти за то, что она с некоторыми поправками к справедливости распределяет богатство, появляющееся из недр. В обществе, где базовый вид деятельности это распределение, власть в итоге начинает распределять не только остатки доходов от сырьевых продаж, но и само право что-то делать, проявлять производственную активность. Право заниматься делом становится еще одним распределяемым ограниченным ресурсом, своего рода пособием по трудоспособности.

Паразитарные стратегии становятся всепроникающими и конституирующими, занимают одно из центральных мест в определениях национальной идентичности. Привычка к природной ренте вырабатывает терпимое и даже любовное отношение к ренте административной и политической. Эти метастазы проникают и в народ: непомерные трудности в реализации собственного дела создают ситуацию, в которой большим жизненным успехом начинает считаться не реальное дело, а пристраивание к системе административного и околоадминистративного перераспределения.

Сказанное может показаться излишней резкостью, риторическим преувеличением. Действительно, ситуация не столь однозначна. Но только если говорить именно о ситуации. Если же говорить о задачах перелома, который необходимо совершить и о дистанции, которую предстоит пройти, то сказанное видится уже вовсе не преувеличени-

ем. Тем более, что ресурс времени на повторение ошибок, раскачки и самобытные эксперименты давно исчерпан. Если и планировать до обвала сырьевой экономики примерно 20–30 лет, то даже на такой дистанции времени уже катастрофически не хватает. Тем более, что, как уже отмечалось, точки невозврата в таких процессах проходятся гораздо раньше собственно обвала. А в случае реализации экстремальных сценариев каскад бифуркаций в сфере производства и потребления новых энергоносителей может в корне изменить ситуацию уже в пределах 10 лет. Нынешний кризис – только первый звонок. И каждый такой звонок будет только увеличивать ресурсы, вкладываемые в альтернативную энергетику, экономию потребления сырья и т.п.

В целом это уже понимают, но пока все же не на уровне продуктивного шока (какой в свое время произвели, например, доклады Римского клуба). Ситуацию пока еще не просчитывают в логике *неприемлемого ущерба*, когда полагается необходимым блокировать даже самые маловероятные, но разрушительные сценарии. Иногда кажется, что в России, вполне в духе ее по-своему уникальной идентичности, продолжает царствовать большой стратегический Авоось.

Выйти из ситуации трудно еще и потому, что она представляет собой замкнутый круг. В ней фатально закольцованы экономика и политика. Эта экономика всегда будет воспроизводить соответствующие, адекватные ей схемы в политике и управлении. Но при этом многое в этой политике и в этом управлении заведомо не даст реформировать экономику, жизненно нуждающуюся в смене собственной идентичности. И так будет продолжаться до нового обвала.

В этом круге приходится смотреть, что хотя бы теоретически поддается целенаправленному изменению. Экономика сама по себе, при такой надстройке – точно не поддается. Надстройка при такой экономике – с огромными оговорками и при крайне слабой надежде, но все же поддается. По крайней мере, такой мысленный эксперимент можно себе вообразить.

Но здесь мы опять вваливаемся в очередной Проект – и это в условиях глобального кризиса проектности! Да еще в России, замученной централизованными проектами и экспериментами на живых людях.

Тем не менее, выход существует – пусть и весьма призрачный. Если очередной мегапроект будет воспроизводить худшее в прежней социальной инженерии, он обречен, вместе со страной. Если же он будет нацелен именно на то, чтобы снять неадекватное регулирование и расковать внутренний потенциал нации, ее саморазвития, шанс остается.

На такое издевательство над собой власти пойти крайне трудно. Если тут что и работает, то либо исторические амбиции, зависящие от масштаба личностей (такое деяние было бы поистине эпохальным), либо сильный испуг (в хорошем, историческом смысле этого слова). А для этого нужен, как минимум, консенсус экспертов в оценке перспектив. Пока специалисты будут успокаивать власть прогнозами, что в ближайшие 40–50 лет углеводороды останутся единственной резервной энергетической валютой и нефтегазовая конъюнктура будет, как минимум, приличной, созданием несырьевой экономики будут заниматься скорее как идеологическим хобби, к тому же весь-

ма прибыльным для организаторов «ручного» инновационного процесса.

Но и испуг может дать разные эффекты с точки зрения поведения элит. Можно собраться с духом и ответственностью, и пойти поперек институциональных интересов власти. А можно так испугаться, что самым умным покажется довершить «распил» оставшегося, а далее уже связывать свое будущее и будущее своих детей с другими территориями, культурами и экономиками, другими людьми и этносами, другими идентичностями.

Что здесь возобладает, станет известно еще при жизни нынешних поколений.

ИДЕНТИЧНОСТЬ И «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ». В ПОИСКАХ ЖАНРА

Разговор об идентичности неизбежно затрагивает тему идей вообще и *национальной идеи*, в частности. Как бы настороженно ни относиться к этой теме, ее здесь трудно обойти по ряду причин.

Во-первых, национальные идеи – одно из классических, а порой и наиболее внятных выражений ядра идентичности нации на определенных этапах ее развития. Строго говоря, национальная идея и есть концентрированное выражение *смысловой составляющей* идентичности, будь то национальная исключительность, экстракт ее достоинства или самокритики, всемирная миссия, историческая задача или локальная, оперативная целевая установка для нации в поворотной точке ее биографии.

Во-вторых, России исторически и по своей ментальной конституции иметь дело с национальными идеями не только пришлось, но и свойственно. Таких стран в мире не так много, и это достаточно определенный типаж, к которому Россия, несомненно, относится (по крайней мере, до последнего времени относилась). Иметь национальную идею – это примерно как иметь полный научный комплекс: дано в истории единицам и то не навсегда, к тому же с не однозначными результатами на выходе.

В-третьих, Россия сейчас вновь ввергается в идеологические инициативы, вызванные как состоянием государства и самочувствием власти с ее предрасположенностью к «большому замаху», так и настроениями массы, уже начи-

нающей тосковать по идейной харизме. Однако важнее то, что к идейности подталкивает реальный масштаб стоящих перед страной задач, обусловленных старым наследством и новыми вызовами. Идеи особо востребованы, когда обычная инерция ведет в никуда, тем более к катастрофе. С идеями носятся, либо когда все слишком хорошо (идеи «венчающие»), либо когда все очень плохо (идеи «спасительные»). Если же свалившееся с неба подобие благоденствия уже в обозримом будущем грозит обвалом, тут и во все возникает ажиотажный спрос на идеи в условиях резко возрастающей, но, как правило, бесплодной идейной активности. К этому можно относиться сколь угодно критически, но это есть, будет, и с этим надо как-то работать.



В разговоре о национальных идеях особое значение имеет *выбор жанра*, причем жанра как самой Идеи, так и разговора о ней. В том числе – жанра данного текста.

Есть странность, но и своя логика в том, что вопрос о жанре поднимается в конце сочинения, когда текст уже почти написан и прочитан. Но такая странность объясняется тем, что в данном случае фрагмент о жанре – это не литературное предуведомление от автора, а самостоятельная теоретическая и даже моральная проблема. Кроме того, это вопрос о жанре *самой* интеллектуальной деятельности, которая одновременно и говорит напрямую об идентичности страны, и претендует на то, чтобы считаться *философской* (что не всегда совместимо)

Действительно, в разговоре об идеях крайне трудно удержаться на уровне рефлексии и не сорваться в обычную

конкуренцию идеологов. Тем более что философствующие такие дискуссии любят, а нефилософствующие именно от них этого и ждут. Но «сочинять Идеи» – не философское дело. Или даже более строго – не дело для философов. Кстати, обычно у них, особенно у «научных философов», это плохо получается: так трусами нас делает рассудок. Но даже если получается, здесь в философе от его особо творческой личности отделяется несколько другая профессия. Солженицын со своим «обустройством России» – не философ, а партизан идеологического фронта (правда, тут же зачисленный в личный состав и возведенный в генералы). Более того, там, где предлагаемый проект Идеи приобретает еще и специально выполненную упаковку, его автор в этом плане и вовсе переходит в плоскость политического пиара. Это называется *политтехнолог со степенью*.

Даже пророчество еще далеко не философия. Философы тоже пророчествуют, но делают это не в жанре Нострадамуса, Ванги или, скажем, Фукуямы, а критически встраиваясь в систему всех взаимосвязанных пророчеств, осмысливая ее как целое, рефлексировав над этим потоком предсказаний и, в конечном счете, пытаясь осмыслить сам процесс пророчествования, рационализировать восприятие и политическую утилизацию результатов этого процесса. Результат философии – не столько предсказания, сколько *наше отношение к ним, умение с ними обращаться*, способность не верить сразу, сравнивать и выбирать, отказываться и пересматривать.

Итак, возможны разные варианты разговора об Идее.

Можно обсуждать тему, непосредственно ввергаясь в идейную конкуренцию, а то и в незаметную политическую борьбу, критикуя чужие варианты и предлагая свои («как художник художнику»). Такой прямой разговор «за Россию» может быть по-своему полезен, но он не становится философским только лишь от «глубины мысли» и не становится научным от обилия цитат, сносок и списка освоенной литературы⁵¹.

Но можно исследовать и готовить концептуальную и методологическую почву, разбираться в том, что такое Идея по определению и по сути, какими они бывают, в каких обстановках какие идеологические жанры бывают востребованы, к чему в этом плане располагает (или, наоборот, не

⁵¹ Морализация интеллектуального процесса (как и многого остального), пожалуй, особенно свойственна русской традиции. Это особый взгляд на движение и оформление мысли. Речь идет не о морали как предмете сознания, но о морально-этических свойствах самого интеллектуального действия, особенно его формы. Г. Федотов называл это «интеллектуальной совестью», Г. Флоровский – совестью «логической», которая, по его словам, «реже всего просыпается в русской душе». Ф. Степун говорил о «логической бессовестности», характерной для российской интеллектуальной практики. Здесь, кстати, проявляется еще одно свойство нашей ментальности: хронический, воинствующий *иллегаллизм*. Готовность вершить суд не по закону, а по совести одинаково присутствует как в жизни, так и в интеллектуальной работе. До их пор из множества «аналитических» контекстов следует, что для того, чтобы вершить суд над собственной историей, достаточно эксклюзивной осведомленности авторов (доступ к документам и информации) и их повышенной порядочности – человеческой, политической, интеллектуальной. В каком теоретическом, концептуальном, методологическом «законодательстве» такой суд вершится, даже не обсуждается. В результате люди выходят под звездное небо над головой, вооружившись только лишь нравственным законом внутри себя – и регулярно злоупотребляют правом субъективных оценок.

располагает) нынешняя российская ситуация, как с этим можно работать, чего в первую очередь следует опасаться и как этого избежать⁵².

Естественно, философии ближе именно этот, второй подход. Это не столько сочинение Идеи, сколько *обустройство места* под нее: оценка потребности в ней (не исключая вывода, что этому месту пока лучше побыть пустым), осмысление ее возможности, источника, инстанции, процесса трансляции и «инсталляции», выбор жанра и, главное, обоснование этого выбора... И жесткая рефлексивная критика поступающих вариантов, всего дискурса. Идеолог открывает рот, чтобы облагодетельствовать – рефлексивная философская критика начинает с простого «не навреди».

Это утверждение в определенном смысле можно счесть излишне строгим. В традиции российского философствования прямое рассказывание России, что она есть такое, чем отличается от других, в чем ее величие и низость, какова ее судьба и что ее ждет – все это тоже считается философией. В самом деле, как и всякий разговор об идентичности (то есть, *о себе*), это уже рефлексия. Однако эта рефлексия направлена на страну в той мере, в какой говорящий пророк, мыслитель или моральный авторитет и есть «сама страна»,

⁵² То же с идентичностью. Можно с ходу начинать высказывать свои представления о российской идентичности, подпирая их специально отфильтрованными цитатами и историческими сюжетами. Альтернативный вариант разговора предполагает обсуждение других вопросов. Что такое идентичность по сути и по структуре? Что в этом плане меняется в мире, в нациях и в нации, а также в тех, кто об идентичности говорит? Наконец, как мы вообще можем мыслить идентичность, свою и чужую, кто и как с этими идентичностями работает и как на них воздействует, какие здесь есть опасности и возможности?

ее *инструмент рефлексии, орган идентичности* (Толстой как «зеркало»). В философском же контексте мы говорим о рефлексии над самим этим органом и инструментом идентичности, более того, пытаемся сам инструмент сделать более рефлексивным. При нынешних средствах массовой обработки сознания здесь намечается выход на принципиальную развилку: это значит пытаться превратить такой инструмент в средство *самопознания*, а не промывания мозгов, себе и людям⁵³. Это два принципиально разных уровня рефлексии и два прямо противоположных подхода к идентичности.

Такой подход в нашей ситуации важен не только для цеховой определенности (кто чем занимается). Нравится нам это или нет, но Российская Федерация, как уже отмечалось, переживает определенно обозначившийся возврат идеологичности. И хотя страну, как и все вменяемое постсовременное человечество, уже не ввергнуть в прежние идеологические предприятия и тотальности, многого и не надо: даже если у народа хоть сколько-нибудь всерьез «поплывут мозги», добежать до последнего вагона уходящего поезда инноваций он уже не сможет.

Хуже того, положение таково, что страна и в самом деле остро нуждается в пророчествах. Обществу нужен хороший

⁵³ Для компромисса здесь можно иметь в виду философию в широком и не вполне строгом смысле этого слова, когда, как у нас принято, можно говорить о философии Чаадаева, Герцена, Толстого и Достоевского – а можно говорить и о философии в узком смысле, как о философии прежде всего рефлексивной и методологической. Философу в строгом смысле этого слова скорее свойственно подавать идеи в духе не брифинга, а *дебрифинга*, то есть не внушения, а извлечения смыслов, не промывания мозгов, а вымывания из них мути и осадка.

прогностический удар, интеллектуальная встряска, собственный футурошок. Судя по дальнейшим реакциям говорящих и слушающих, слова о судьбоносности момента, о том, что на карту поставлено «само существование страны», воспринимаются скорее как дань риторике – даже если они произносятся с высочайших трибун и в самых ответственных контекстах. Поэтому в риторике модернизации преобладают победные ноты (каких высот мы достигнем), но почти отсутствует алармизм, хотя бы и строжайше дозированный (в какие пропасти страна может быть низвергнута). И даже понимание критичности ситуации сохраняет оттенок: «еще не приперло». Даже после начала кризиса.

Образ будущего, в котором для России останется место только на периферии цивилизации – вовсе не преувеличение. Можно утешать себя тем, что в маргиналиях мира люди часто живут вполне сносно, а то и счастливо, часто счастливее тех, кто с ядерными установками борется за мир, желательно за весь. Но это не про Россию – срыв в третий эшелон вряд ли пройдет здесь без шума и бескровно. Хотя потом, возможно, на этих территориях и наступило бы тихое, благопристойное, партикулярное и очень скромное благополучие.

Чтобы избежать очередного срыва, стране *нужны Идеи* – как бы пошло это ни звучало. И они *будут* – как бы мы этому ни сопротивлялись своей иронией, сарказмом и разговорами о конце российской классической идеологии. Если сегодня эти идеи будут такими, какие уже сейчас намечаются «в телевизоре», завтра, когда на деле ничего не получится, это будут идеи о том, какие внутренние и внеш-

ние враги сначала помешали Святой Руси завалить мир инновациями, сделать рубль резервной валютой, войти в пул ведущих экономик мира, достичь средневропейского уровня жизни... а затем и вовсе скинули ее на задворки инновационного мира.

Это реальный парадокс: Идеи нужны – но в них же одна из главных опасностей. Чтобы под натиском идейного «окормления» не потерять чувство реальности, страна и общество, как уже отмечалось, сами должны стать на порядок *более рефлексивными*. И в этом смысле – *философскими*.



Начнем с формы.

Спектр «национальных идей» разных времен и народов показывает, что это не просто идеи, отличающиеся именно по содержанию, – это зачастую *совершенно разные идеологические жанры*. Русская идея (от Третьего Рима Филофея и триады Уварова до коммуно-советизма); британский империо-консерватизм, викторианство, англоцентризм; элементы американизма (American Dream, American Exceptionalism); «Канадиана»; японская модель (Nihonron, Japanese Uniqueness); мобилизационные идеи «молодых восточных тигров» и т.д. и т.п. – все это не просто разные решения, но ответы на разные задачи, более того – сформулированные в *разных жанрах*, стилях и «видах» идеологического искусства. Французская идея может быть разлита в естестве, в вине и духах – а на определенных отрезках представлена и в явно спланированной конструкции. Национально-государственные идеи Израиля или ЮАР делались именно на заказ (сколько бы у нас ни писали, что Идеи

в пробирках, кабинетно не рождаются). «Deutschland uber alles!» – эта славная идея существенно различалась по смыслу во времена собирания земель и в нацизме. Идея же послевоенной Германии (раскаяние и реабилитация немцев перед миром и самими собой через упорную работу и новый подъем страны) была исполнена и вовсе в другом ключе. И то, что называют «планом Бёлля» (по мудрым оценкам, значившим тогда не меньше «плана Маршалла»), есть в литературе, но не в виде специального идеологического документа.

Далее, идея может быть *метафизической* либо *прагматической*. Если подняться до Платона и Гегеля и понимать идею как метафизическую сущность вещи, тогда надо пойти за В. Соловьевым: национальная идея это не то, что народ думает о себе во времени, а то, что Бог думает о нем в вечности. Но поскольку сам Бог нам всего этого пока прямо не говорит, остается избранным, не боясь греха, самим вещать о России, ее самобытности, «статии», предназначении, разного рода миссиях, врагах, чужеродных веяниях и т.д., вплоть до правильного устройства государства и отношения к власти, вытекающих из такого видения России «от Бога».

Прагматические идеи, наоборот, говорят нам не о том, чем мы являемся по Идее, а о том, что нам *делать*. Причем не вообще, а именно *здесь и сейчас*. И именно на результат, инструментально. Поэтому, например, смена вектора развития с сырьевого на инновационный – это не идея, а идеология. Идея в прагматическом, житейском смысле слова не может быть столь отдаленной и столь банальной. Пожелание обеспечить себе яркую карьеру или обеспеченную старость – это еще не идея, даже не мысль. Идея – *как* это сде-

лать. Тогда впервые появляется возможность понятной оценки проекта: предложенные средства либо оправдывают цель – либо требуют замены тех, кто в этом обществе цели и средства формулирует.

Идея может быть *установочной* либо *рефлексивной*. Мало придумать, что нам сейчас надо делать – это тоже только общая установка. Вопрос в том, как *мы* это можем сделать, как *мы* это можем сделать *вопреки себе*. Что мы должны изменить в себе, чтобы, наконец, все же *сделать* то, что мы делали и раньше и что делаем теперь ровно с тем же неуспехом.

Это и есть – *идентичность*, во всей ее парадоксальности и несводимости к простому тождеству: *как мы могли бы сделать то, чего мы по своей натуре сделать в принципе не можем*.



Над этим надстраивается еще один уровень прагматики и рефлексии: что мы будем делать тогда, когда в попытках скорректировать свою идентичность начнем сами себе сопротивляться, яростно и организованно?

Строго говоря, страну не интересует, что вот теперь она будет с небывалой силой обеспечивать свою конкурентоспособность, запускать инновации, развивать экономику знания, высокие технологии и наукоемкие производства, бороться с коррупцией, снимать административные барьеры, устранять государственный и околосударственный монополизм, развивать малый бизнес, делать ставку на инвестиции в человека и пуше прежнего наращивать демократию, переживая кризис на острове стабильности в тихой гавани. Более того, вменяемую часть общества не интере-

суют даже программы мер и планы действий, будь они трижды «пошаговые». Про каждую из этих мер все уже всё знают – и те, ради кого это делается, и те, против кого эти меры направлены. Сначала предприниматель узнает, что впредь милиция сможет его третировать и обирать только с санкции прокурора и при наличии угрозы жизни, здоровью и пр. Но тут же, от того же ухмыляющегося милиционера он узнает, что теперь ему придется отстегивать еще и дружественному милиции прокурору, оплачивая санкцию против себя. Точно также про каждый снятый административный барьер и бюрократия, и бизнес прекрасно знают, каким образом практически на том же месте возникнет барьер новый и еще два по соседству⁵⁴.

Такое пикирование от Платона к российскому бизнесу может показаться слишком приземляющим. Однако это именно про идеи, про то, что происходит, когда о нас думают не на земле, а как бы в вечности. Такое снижение – вопрос одновременно и жанра, и самой сути подхода, самого отношения к ситуации. Понятие идеи уже содержит требование информативности, то есть наличия нетривиальной информации. «Лошадь едят овес и сено» – не идея. У нас же в качестве идей регулярно преподносят благочестивые банальности или то, что в реальной жизни людьми давно отработано.

Более того, способность к такому снижению темы для нас принципиальна. Рассуждая о том, как в нашей культуре

⁵⁴ Когда одна дама в ходе проверки только заикнулась про Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей...», ей совершенно беззлобно, даже как-то по-доброму ответили: «Еще слово – и все будет в два раза дороже».

вырабатываются, транслируются, воспроизводятся и реализуются «национальные идеи», видя здесь хронические, системные проблемы, мы одновременно выходим и на тот пласт реализации идей, который имеет место в рутине, в повседневности, в обиходе. Выясняется, что в эпохальных начинаниях и бытовых неурядицах проявляются одни и те же проблемы, одни и те же стереотипы, сказываются одни и те же алгоритмы рождения идеи и ее реализации (или умирания). И тут оказывается, что характер воплощения идей нацией иногда почти точно повторяется в самых банальных действиях ее индивидуальных представителей и их микроколлективов. В итоге эти повседневные умирания частных идей оказываются проблемой ничуть не меньшей, чем срывы эпохальных начинаний страны. Это как в кровеносной системе, в которой суммарная пропускная способность множества мельчайших капилляров равна пропускной способности крупных артерий и вен. И еще вопрос, с чего начинать: с продавливания очередной общенациональной идеи – или с обустройства условий, в которых идеи вырабатываются и нормально реализуются отдельными людьми в их повседневной жизнедеятельности. Не исключено, что, начав именно с микроуровня, можно выйти на новую ситуацию, в которой и общенациональные идеи не будут выглядеть бесконечными утопиями.

Прагматические идеи, в свою очередь, тоже могут быть возвышенными и приземленными, самодовольными и резко самокритичными – дело в оценке положения. Причем не только в калькуляции отдельных проблем, но и в общем умонастроении, мирочувствии. Это самоощущение может

быть свойством локальной ситуации, больших периодов, целых исторических этапов или эпох. Более того, оно может быть устойчивым свойством национального характера, одной из черт его идентичности. Это как люди: есть нарциссы и петухи, есть серые мыши, а есть интровертированные самокопатели.

Такие характеристики не исключают внутренней раздвоенности, которая сама становится свойством, чертой идентичности. Субъект, будь то человек или этнос, может быть одновременно нарциссом и самоистязателем. Сегодня он может петушиться, а завтра будет посыпать голову пеплом и клясть свою подлую натуру.

Такое раздвоение может иметь структурный характер. Например, в одних отношениях человека, общность или страну распирает гордыня, а в других – терзают муки греховности. Или даже так: власть в стране традиционно напыщенна и самодовольна, национальная культура поражает мир заходами в страшные закоулки души, муками искупления и самосовершенствования, а народ то греховодит, то подвижничает, клянет всех и вся за свою бедную и никчемную жизнь – и тут же ведется на посулы святости и мирового величия.

Во всех этих сложных конфигурациях идеи могут попадать в тональность общего настроения или выпадать из нее. Они могут опираться на лучшие человеческие свойства, а могут эксплуатировать и развивать худшие. Когда же идеи требуются под очень определенные, императивные и почти нереализуемые задачи (например, когда необходимо в условиях относительного благополучия переступить через

себя и создать общество, способное без катастроф выйти из-под руин сырьевой экономики), то здесь требуются предельно жесткие самооценки. Тут уже не до выбора между стилистикой Третьего Рима или немецкого послевоенного покаяния. Искусственно духоподъемное в таких ситуациях не столько поднимает дух, сколько расслабляет, раздувая и без того перегретые ожидания. При этом критично сжимается главный невосполнимый ресурс – время.



Чтобы не терять времени вновь и вновь, приходится заранее выстраивать сложные многоходовки. Причем как в отношении больших идей, так и в реализации идей среднего и низового уровней. Если говорить о перспективах разного рода благих начинаний, то адекватное самоощущение в этой ситуации могло бы выглядеть примерно так: все не так плохо, как кажется – на самом деле, все гораздо хуже. Поэтому идея или проект должны вобрать в себя все, что уже было (что не получилось и не получится), и надстроиться над этим, опершись на опыт неудачной реализации данной идеи.

Например:

1) для создания приемлемых условий ведения бизнеса мы намерены сократить избыточное вмешательство государства в предпринимательскую деятельность, снизить административные барьеры и т.п.;

2) эти идеи не новы, практически те же меры в этом направлении уже неоднократно предпринимались и до сих пор давали результат мизерный, никакой или обратный;

3) этот негативный опыт дает нам знание того, как именно эти меры будут обходиться, каким образом реформы бу-

дут тормозиться, дискредитироваться, выхолащиваться, срываться, превращаться в имитацию или в контрреформу; поэтому реальный ход реформ будет контролироваться мониторингом по таким-то конкретным, считаемым и нефальсифицируемым показателям;

4) чтобы на этот раз все же чего-то добиться, будут предприняты такие-то превентивные действия в институциональной сфере, в экономике, в силовом блоке и т.п., будут нанесены заранее подготовленные контрудары по организованному и спонтанному сопротивлению;

5) с представителями несломленного сопротивления государство под жестким контролем общественности и политического руководства будет поступать следующим образом (приводится единственно эффективная «система мер»)⁵⁵.

В нашей ситуации, в силу императивности и масштаба задач, а также в силу дефицита времени, тональность требуется предельно жесткая. Пока власть рисует преобразования, начинаемые в институциональной сфере, как мирное самосовершенствование бюрократического класса, ко «всему хорошему» якобы уже готового, это либо имитация идеи, либо не вполне адекватная оценка положения. При любой попытке что-то сделать с паразитарной и коррумпированной ин-

⁵⁵ Строго говоря, в таких многоходовках осведомленной публике интересны только последние ходы. Все предыдущие настолько хорошо известны, что без них любые программы вызывают только усмешки, ехидные или горестные. В стране есть миллионы научных горьким опытом «экспертов», которые могут любого политика, управленца или аналитика в деталях просветить, как и что здесь бывает, как будет и на этот раз и что надо сделать, чтобы прежний провальный опыт не повторить. Тем не менее, бюрократии свойственно начинать все с начала; дефиле по граблям продолжается.

ституциональной средой, являющейся естественным наростом на экономике сырьевых продаж и перераспределения, в стране начинается подлинная *война за государство*⁵⁶. При этом сторонники обновления институциональной среды в случае неудач в коротком времени теряют многое, но далеко не все; поэтому они слабо мобилизованы, а их интерес не так сконцентрирован. В отличие от защитников сложившейся паразитарной системы, для которых проигрыш в войне за государство означает потерю всего (люди, воспитанные на монопольной эксплуатации административного ресурса, делать бизнес в зоне жесткой конкуренции, как правило, не способны). Ситуация почти тупиковая – но именно в таких предтупиковых ситуациях и возникает пространство для генерирования по-настоящему неординарных и продуктивных идей.

На фоне разговора об Идее эти сюжеты могут показаться слишком прозаическими, конкретными и частными. Однако это тоже способ работы с идеями, способ проверки их на дееспособность. Когда затевается большой проект, например,

⁵⁶ Эта война почти не видна только потому, что плохо организованные атаки на ведомственный интерес тут же захлебываются, часто к общему удовольствию. Когда же наступление продвигается сколько-нибудь всерьез, поставленные под удар структуры, обстроившись прикормленным бизнесом и «общественными» организациями, начинают дорогостоящие и системно организованные контрдействия, включающие: саботаж, дезинформацию, провокации, идеологические, методологические и административные диверсии, развернутые пиар-программы, нагнетающие истерику и дискредитирующие начатые преобразования, обходные маневры «по начальству» и т.п. Выстроив запредельно жесткую вертикаль во взаимоотношениях центра и регионов, государство ничего не смогло сделать с вертикалью внутри самой исполнительной власти, с проявлениями откровенного *ведомственного сепаратизма*.

реформа, но в рамках этого проекта власть и общество не могут сделать даже самого малого и простого, когда тиражируются старые ошибки и не предпринимаются даже самые очевидные меры для того, чтобы эти ошибки не повторились, вопрос становится системным. Значит, то же самое будет происходить и с Идеями, будь они трижды национальные, или с Проектами самого высокого ранга, будь они самые что ни на есть приоритетные. И тогда адекватные и работающие идеи должны состоять уже не столько в содержании лозунгов, в их проектной составляющей, сколько в том, что именно необходимо сделать, чтобы болезненные, но жизненно необходимые изменения все же состоялись. Иначе говоря, идея с самого начала должна «брать производную».

Все это важно еще и потому, что с точки зрения формулирования идей и их реализации нет принципиальной разницы между общенациональными идеями, идеями «среднего уровня» и микроидеями, сопровождающими самые утилитарные начинания. Стереотипы здесь, как правило, универсальны. Если страна не так замахивается на великое, есть все основания подозревать, что в ней также замахиваются и на малое – и так же регулярно промахиваются, причем по тем же самым причинам.

Здесь мы выходим на еще одну типологию идеологического. Идеи бывают «сильные» и «слабые». «Сильные» идеи в большей степени срабатывают сами по себе, смыслом и формой. Но только в определенных ситуациях: когда в обществе уже готова атмосфера для их прихода, а главное, когда это атмосфера потрясения, переворота. «Спасай Россию!», «Бей жидов!», «Грабь награбленное!»... «Сильные» идеи предрас-

положены быть дурными. Они сильны тем, что вырывают экзальтированную часть народа из обычной жизни и увлекают в поход, на битву и т.п. Естественно, за пророком, вождем, харизматиком. Архетипы Похода и Победы, хотя и спасали от набегов и нашествий, но, как правило, очень мешали нормальному развитию в мирное время. И мешают сейчас, соблазняя триумфальными арками, которые начинают строить даже не до победы, а еще до начала сражения.

Мудрый Фазиль Искандер сказал: «Потерявшие идеал начинают идеализировать победу. Победа из средств достижения истины превращается в самую истину... В слове "победа" мне слышится торжествующий топот дураков».

«Слабые» идеи, наоборот, не озвучиваются выкриками. Зато они не вырывают людей из нормальной жизни, но могут пронизать, наполнить собой ее поры – и в итоге стать сильнее «сильных»! Это еще раз к вопросу о «приземленности» разговора об идеях. Для страны, в которой всегда были вопиющие разрывы между высотами духа и низостью коллективного предательства, между чудесами культуры и позорной неустроенностью быта, между блеском «окон в Европу» и позорищем «за сороковым километром», самой великой, но и самой неисполнимой идеей может оказаться банальное: «Поправь забор!»⁵⁷. В самом деле, этот архетип одновременно выводит и на общекультурный, исторический

⁵⁷ Когда автору этих строк довелось обсуждать данную тему с доктором Дж. Биллингтоном, известным русистом и директором Библиотеки Конгресса США, тот выразил сомнение в том, что «русских» можно поднять на слабых идеях. Но, тем не менее, оппоненты такого подхода, как правило, соглашались с тем, что нас можно поднять на «стыдно!» и «слабо?» (идея, подаренная автору тележурналистом Н. Серовой).

диагноз, но и на понимание судьбы многих сегодняшних начинаний. Это хорошо видно, когда власть затевает одно за другим великие и неотложные дела, широко заносит руки и ноги, но при этом не может сделать почти ни одного пусть маленького, но реального шага, не может нанести ни одного сколько-нибудь чувствительного удара по тому, что страну очевидно губит. Эта общекультурная парадигма «выставки достижений на болоте», как ни странно, воспроизводится даже в технологии и реальной судьбе реформ.

Здесь же возникает развилка между идеями, которые с очень большой долей условности можно назвать *положительными* (проектными) и *отрицательными*, точнее *отрицающими*. Положительные идеи всегда выводят на некий созидательный проект. Однако при всей позитивной окрашенности такого рода определений, здесь есть целый ряд достаточно тонких вопросов.

Во-первых, (и это самое простое) часто бывает, что монтажу должен предшествовать демонтаж, представляющий и приоритетную, и наиболее трудную проблему. Например, в ситуации, когда государство намерено чем-то содействовать бизнесу, но прежде в приоритетном порядке должно убрать то, в чем оно само же ему мешает. Если одновременно давить на газ и на тормоз, то сначала ничего не видно в дыму паленой резины, а потом просто не на чем ехать.

Во-вторых, к сверхкрупным созидательным проектам (особенно если таковые выходят на уровень общенациональных идей) постсовременное сознание, как уже отмечалось, относится крайне настороженно. С одной стороны, проект всегда ограничивает живую жизнь и спонтанную самодея-

тельность, сковывает вариабельность, что особенно опасно в условиях сверхбыстрых изменений и повышенной цены ошибки. С другой стороны, проектно-преобразовательный пафос ограничивается постсовременной этикой *невмешательства в будущее*, которое и есть «приватное пространство других поколений». Слишком навязчиво и жестко засылая в будущее свою нынешнюю идентичность, мы ограничиваем свободу других.

В-третьих, в отсутствие достаточного общенационального консенсуса проекты, как правило, только разъединяют и даже сталкивают. Гораздо проще и надежнее люди соглашаются на том, чего быть *не должно*, что необходимо искоренить. Не случайно великие и вечные, мировые идеологии строят свои самые сильные интегративные постулаты на *системах запретов*.

Похоже, в ближайшее время нам не грозит объединить Россию на проекте «общества, которое мы строим». Возможно, этого и не надо: важнее создать и запустить механизмы, которые позволяли бы стране самой выбирать оптимальный путь развития и постоянно его корректировать, откликаясь на меняющиеся запросы времени. Но объединить страну на идеях о том, каким это общество быть *не должно*, что мы отрицаем сегодня и с чем должны покончить, чтобы предотвратить очередной срыв – это задача идеологически нетрудная, а технологически в принципе решаемая⁵⁸. Дальше останется «только» реализовать эти идеи на практике...

⁵⁸ Здесь лишь уместно вспомнить, что идеи не обязательно исчерпываются жанром словесных триад, списками заповедей или идеологическими текстами руководства. «Технологически» огромную роль играют по-

А вот как раз это при наших инерциях крайне трудно, если вообще возможно.



Такого рода скептицизм внушается прежде всего проблемами с идентичностью, точнее с самоидентификацией. Выше уже упоминались слова Ю. Андропова: мы не знаем общества, в котором живем. С тех пор многое изменилось. На каком-то отрезке в избытке появилась литература в области политической философии и политологии, новой культурологии, экономики, возникла и пошла в рост эмпирическая социология. Все это живо воспринималось обществом, а не только в цеховой среде. Кроме того, сама ситуация в политике, в СМИ и т.п. позволяла стране близко подходить к реалиям собственной идентичности, пусть через заполошные полемики и пережатые оценки.

Однако постепенно толковые люди приспособились к тому или иному делу и убавили интерес к сложной самоидентификации общества, тем более к самокопанию. Довольно быстро всё стало так или иначе подключаться к решению большой общенациональной задачи – «распилу» накаченного нефтью бюджета и нагнетанию стабильности, которая этому делу не мешала бы. А поскольку многое в обществе существует вовсе для других, часто для противоположных

вестования, живые примеры. В этом нет ничего необычного. Священное Писание живо в веках в том числе и как собрание таких «сюжетных свертков». Даже идеология советского периода утверждала себя в реальном сознании не столько революционной теорией, сколько континуумом такого рода повествований «из жизни». В этом смысле Жданов и Сулов были куда более чуткими и грамотными идеологами, чем многие их нынешние преемники по линии идеологического строительства.

целей, стали появляться множественные маски, камуфляжи, фасады, имитации, обманки, театрализации и постановки, симулякры и отвлекающие маневры. Если всмотреться в основные, «несущие» институты, организованности и практики, то окажется, что практически всё на самом деле есть не совсем то (или даже совсем не то), чем оно должно быть по определению и по задаче и чем оно является по сути. Представительства, которые представляют либо никого, либо совсем не тех; законодательные органы, номинально находящиеся в одном месте политической системы, а реально в другом; госслужба, перерождающаяся в предпринимательство на административном ресурсе; контроль и надзор, увлеченные государственным рэкетом; большие проекты, номинально поднимающие страну, а реально – их вдохновителей, организаторов и исполнителей и т.д. и т.п., включая суровые сцены оперативного руководства в ежедневных новостных сюжетах. Тело общества испещрено невнятными, ложными и тщательно скрываемыми идентичностями. Всё становится каким-то *не вполне настоящим*.

Не вполне настоящими становятся не только вещи и процессы, но и сами отношения. Внешние признаки консенсуса и стабильности в обществе пока присутствуют, но это заочная договоренность, опосредствованная многими слоями социальных, политических, медийных и т.п. технологий. Подлинные позиции, интересы, ценности и оценки «договорившихся» друг другу не прояснены, а, наоборот, уведены в тень. Мы возвращаемся к все той же интеграции через непонимание, которая, как выясняется, может быть временно устойчивой, но в острых ситуациях крайне нена-

дежной. Ради общего спокойствия морочить друг другу головы можно довольно долго, особенно в стране, уставшей от междоусобных драк и национальных потрясений. Но это «долго», во-первых, все же ограничено во времени дистанцией до ближайших серьезных трудностей, а во-вторых, его точно не хватит до момента, когда дадут о себе знать системные сбои в распределительной экономике.

Главная же проблема заключается в том, что этот консенсус распространяется и на тот губительный для страны негатив, устранение которого, наоборот, могло бы стать основой консенсуса продуктивного. Едва ли не безоговорочно поддерживая курс и все, что его сопровождает, люди фактически соглашались с существующими масштабами административного садизма и рэкета, с собственным бесправием. Единственным и почти одиноким борцом с административным прессингом, коррупцией и легализованными поборами оказывается... политическое руководство. На какое-то время даже удается вовлечь в это дело массы энтузиастов из общества, например, из бизнеса, но позорные проволочки и сдачи позиций отвращают людей от поддержки власти даже в лучших ее начинаниях. Руководству остается опираться в этой своей святой борьбе на все те же административные структуры, обустроенные к тому же околোগосударственным бизнесом. Результат предсказуем. А. Макаревич на вопрос, как он относится к проекту «Рок против наркотиков», ответил: это все равно что «Пчелы против меда».

В условиях размытой, плывущей идентичности базовых институтов, практик и отношений складывается ситуация,

двойственная с точки зрения появления и принятия разного рода масштабных, стратегических идей.

С одной стороны, сложившийся консенсус, каким бы организованным и двусмысленным он ни был, позволяет впервые за долгое время появиться *инстанции*, из которой идеи могут исходить, не вызывая насмешек или оторопи. Предыдущее правление такой инстанцией не было. При Ельцине выступление с любой сверхкрупной идеей или с любым общенациональным проектом было заранее обречено на провал, причем совершенно безотносительно к качеству и ценности этих идей и проектов. При нынешнем правлении (которое пока все же одно, независимо от смены кабинетов) такая возможность появляется. Теперь власть легко позволяет себе концептуальные экскурсы в большую и новейшую историю, жесткие оценочные конструкции и программные заявления, которые явно тянут на идеологию с вкраплениями сюжетов, напоминающих Идею. И это в глазах общества уже не выглядит слишком неадекватным. Пока не выглядит.

С другой стороны, в складывающейся ситуации идеологические инъекции чаще попадают в классическую схему интеграции через непонимание. Консенсус на неполной договоренности оказывается во многом ущербным, а в критических ситуациях – и весьма хрупким.

Тем более это проблемно, когда идеи приобретают мобилизационный характер. В наших условиях мобилизация – это не просто концентрация усилий того общества, которое есть. Это прежде всего основательное самоизменение, к тому же достаточно интенсивное в силу дефицита времени.

Но общество с не вполне настоящими институтами, практиками и отношениями через некоторое время неизменно обнаруживает что не вполне настоящими оказываются и сами его усилия. А соответственно – и результаты. Обманные идентичности главных «вещей» порождают такие же обманные идентичности действий – при всем желании все же сделать, наконец, что-то *настоящее*.

В такой ситуации в ряд приоритетных выдвигается задача проявления и согласования множества идентичностей, из которых складываются общество и его жизнь. Этот процесс не должен быть революционным, поскольку переход от некоего тумана к полной прозрачности часто ослепляет и провоцирует на избыточные резкости, с разных сторон. Однако нам, судя по всему, это и не грозит. Главное, чтобы общество хотя бы двинулось в сторону честной рефлексии и начало сводить разорванные идентичности, выводить из тени не только экономику. Теперь это уже не вопрос социальной и политической морали, а вопрос жесткой прагматики: без такой рефлексии задача перевода общества в новое качество в принципе не решается.

При всем уважении к поискам российской идентичности в исторической традиции или в проектах будущего, стране для начала предстоит разобраться с ее *нынешней* идентичностью, причем не только аналитически, но и в жизни.

Проще говоря, *стать самой собой*.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ПОСЛЕДНЯЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ ИЛИ ТОННЕЛЬ В КОНЦЕ СВЕТА?

Данное резюме, не исчерпывая выводов текста, представляет его логику в обозримом виде и сводит баланс факторов, определяющих возможность изменения российской идентичности в пользу последней модернизации⁵⁹.

1. В начале века страна оказывается перед очередным историческим вызовом, но в новых условиях и с новой императивностью. Эпоха *догоняющих модернизаций* на исходе, отставания становятся *необратимыми*. При любых долгосрочных сценариях *точки невозврата Россия проходит уже сейчас*. С учетом наших инерций и проблем запуска изменений, счет идет даже не на десятилетия. Цена вопроса – само *существование страны* в ее нынешних политических и геостратегических параметрах. Это определяет масштаб задачи, историческую ответственность руководства, элит, поколения.

2. Инновационный маневр – не техническое действие, а переход к *несырьевому типу экономики, культуры, общества, государства, развития*. Историческая размерность – «смена формации». Это требует *изменений идентичности*, глубоких и тотальных по фронту, включая политику и от-

⁵⁹ Предстоящая модернизация является *последней* и по времени, и по фатальности: либо она состоится, и вопрос будет в той или иной форме решен – либо далее в стране будут возможны лишь ползучие, вечно отстающие и вечно догоняющие модернизационные процессы, но не модернизация *как таковая* – как хотя бы относительно завершенное действие, обеспечивающее вхождение в поток современности.

ношения власти. Задача осложнена тем, что пересмотр российской модели развития накладывается на общий, глобальный тренд – ревизию основ техногенной цивилизации. Страна вынуждена входить в новый мегапроект на фоне отказа от апологии инженеризма; она заново собирает свою идентичность в эпоху, когда идентификации культур, общностей и индивидов уходят от прежних единств. Привычные виды на модернизацию и сборку идентичности лежат в противоходе с этими трендами. Неизжитый модернизм в эпоху постмодерна чреват провалом проекта.

3. Меняются *этнос* идентичности и ее *архитектура*. Отказ от однополярности распространяется с глобального уровня «вниз»: в идентичностях стран, культур, общностей и даже индивидов самоцентризм и отталкивание от другого сменяются соединением разного (уникальность не элементов, но комбинаций). Из отношения к другому уходят профетизм и стратегии исправления. Более того, идентичность становится пористой: она впускает в себя другое в качестве *иного своего* в режиме взаимопроникновения. В такой толерантной, открытой и изменчивой идентичности решающим становится качество *целого* (полнота и пробелы, конфликты и резонансы, баланс составляющих, общая динамика).

4. Эту новую реальность описывает многомерная модель, увязывающая:

1) единую иерархию идентичностей *по вертикали* (от индивидов, микрогрупп и фрагментов массы до этносов и наций, стран и блоков, культур и цивилизаций);

2) пласты идентификации *по горизонтали* (ценности и уклады, характеры и темпераменты, самоопределение в

культуре, знании, экономике, социальности, политике, государственности и пр.);

3) наборы («упаковки») конкретных, заведомо разных, в том числе конфликтующих идентичностей в *каждом из пересечений* этих осей.

В «четвертом» (временном) измерении идентичность удерживает свое прошлое (историческая память, рудименты сознания) и будущее (проект себя как идентичность настоящего).

Это отменяет подход к идентичности через ограниченный набор привычных тем. Принципиальным требованием становится *полнота* заполняемой матрицы: полезные или опасные резонансы возможны в любых узлах данной конструкции, включая взаимоудаленные точки и неожиданные взаимодействия. Анализ динамики такого целого вскрывает общие тренды, но и конфликты движения (разнонаправленность изменений, их асинхронность, несогласованность скоростей и т.п.).

5. Даже в упрощенной версии этой модели (идентичность как «опрос») для новой России проблемны *анкетные данные*: имя нации (ее самоназвание и «отцовство»), время и место рождения новой страны, памятные даты и праздники, оценки эпизодов автобиографии («награды и взыскания») и т.д., включая политическое и экономическое самоопределение, внешние связи и геостратегическую «прописку». Более того, привычные клише российской идентичности (морализм и «духовность», «общинность» и «соборность», этатизм и имперскость, мобилизационизм и жертвенность) прошли в советский период *изживание через гипертрофию*. Это породило

ло ряд «перевертышей»: усталость от идейности, морализаторства и коллективизма, атомизацию общества, надрыв Империи, слабость «сильного» государства, незащищенного от корыстного манипулирования, отторжение лозунгов мобилизации. По ряду несущих параметров страна стала *собственным антиподом*, обратная коррекция только намечается. Но эти изменения слабо проработаны. Невнятная идентичность вынуждает входить в модернизацию «на ощупь», с повышенными рисками срывов и расколов в сознании и обществе.

6. Постсоветский социум насыщен имитациями, суррогатами и симулякрами, что делает его *не вполне настоящим*. Это, в свою очередь, требует особо жесткой рефлексии над дискурсом идентичности. Оценки *происходящего* подлежат очистке от политического макияжа, от наслоений перманентной предвыборной кампании. В образах *будущего* рефлексия акцентирует не благие цели, но технологии их достижения, что радикально меняет оценки предлагаемых стратегий. В реконструкциях *прошлого* обнажаются скрытые политические проекты, продвигаемые не прямо, а через исторические нарративы-иносказания (стыдливая идеология). Здесь об идентичности говорит не «сама история», а то, как образы прошлого используют в настоящем. Свободная, эмансипированная от идеологических манипуляций *самобытность* означает возможность *быть самому* в каждый конкретный момент развития, здесь и сейчас.

7. Идентичность определяется системой идей, но и *системой институтов*. В постсоветской России такие институты частично демонтированы либо находятся «не на месте». Мировоззренческие, ценностные и т.п. установки, транслируе-

мые в системе власти, школе, армии, СМИ и пр., исходят от неназываемых, «закадровых» инстанций. Вопреки распространенным иллюзиям деидеологизации, аппарат формирования идентичности работает, но анонимно, без публичных и внятных правил, вне общественного контроля и вопреки конституционному запрету на огосударствление идеологии. Рефлексивность коллективного самосознания также обеспечивается не только интеллектуальными процедурами, но и структурами общества и государства – *рефлексивной социальностью и государственностью*. Положение обязывает сделать понятной и легитимной систему выработки, оценки и трансляции представлений об идентичности, о ценностях, целях, стратегиях и режимах модернизации. В более общем виде это проблема ухода от *теневой идеологии* власти.

8. Оформление новой идентичности осложнено разрывами идеологической коммуникации. *Гражданская война на идеологическом фронте* не окончена, но загнана внутрь иллюзией победы идеологии власти, достигнутой сжатием политики и временным консенсусом на почве перераспределения доходов от сырьевых продаж. Ухудшение социально-экономической конъюнктуры чревато разрушением фантомов *интеграции через непонимание*⁶⁰, вскрытием вытесненных идейных конфликтов. Опасность *срыва на подъеме* (эффект Токвиля) усугубляют перегретые ожидания, созданные навязчивым позитивом пропаганды последних лет.

⁶⁰ Как выше отмечалось, суть *негативной герменевтики* в том, что идеологии могут интегрировать общество в той мере, в какой их смыслы именно *нетождественно* воспроизводятся в разных точках социального пространства и во времени.

Сильные интегративные идеологии, наоборот, строятся на *отрицаниях* – системах *запретов*. В нашей ситуации это затруднено: объединяющие отрицания (чего «не хочет никто») затрагивают уже не девиантности, а системные свойства режима. В условиях редукции политики болезнь сама себе прописывает рецепты, имитирующие лечение. Здесь режиму остается *переступить через себя* – пока не переступили через него.

9. Потребность в глубоких изменениях выводит на сложную *геологию идентичности*, пласты которой движутся с разными скоростями и инерциями. Под волнениями политических событий протекают глубинные, особо медленные процессы, затрагивающие *структуры повседневности* и *микрופизику власти*. Асинхронность движения в слоях идентичности порождает постоянные забегания и задержки: глубинные инерции задним числом разворачивают ход опередивших событий, а отставания политики от глубинных процессов, наоборот, провоцируют незволюционные сдвиги. Страна хронически повторяет пройденное: реформы, не затрагивающие глубинных пластов сознания и практик, зависают, в то время как политическая «поверхность» отстает от спонтанной эволюции общества, а то и попадает в противофазу. Во избежание новых потрясений необходимы синхронизация поверхностных и глубинных процессов и, как минимум, отказ от целенаправленной инфантилизации массового сознания. Более того, в условиях жесткого дефицита времени политика обязана работать на опережение спонтанной эволюции общества.

10. Сверхзадача модернизации требует уточнения. Формула *от сырьевой экономики к инновационной* скрадывает проблему. Болезнь сырьевой экономики не в том, что она не производит инноваций, а в том, что она *не производит*. В идеологии прорыва между сырьевым экспортом и хай-теком пропущена «середина» обычных (средне-инновационных и средне-технологичных) производств, без которых экономика знания зависает и вырождается в демо-версию. Без этой «середины» инновации лишаются: среды внедрения, заказчика и объективного оценщика проектов, естественного инвестора. Инновационная стратегия в наших условиях должна начинаться с *реиндустриализации в постиндустриальную эпоху*. Если идеология инноваций строится на тактике подталкивания, задача реиндустриализации предполагает прежде всего демонтаж паразитарной системы сдерживания.

11. Провалы в конкурентоспособности и свертывание производств неизбежны в институциональной среде, порождаемой экономикой перераспределения, с естественными для нее аппаратными метастазами, административными барьерами и массовой коррупцией. Ситуация крайне конфликтна: сопротивление институциональным реформам может достигать накала «войны за государство». Страна попала в *историческую ловушку*: в этой войне политические и институциональные порождения сырьевой экономики будут побежать вплоть до ее обвала, обрезая возможности диверсификации. Выход из тупика требует неординарной политической воли и нестандартных решений. В опробованных режимах преобразования обречены. Необходима *метареформа* – реформа самой системы реформирования.

12. В итоге проблема выходит в политическое измерение. Идея «инвестиций в человека» предполагает, что главными вложениями здесь должны быть Свобода и Право, реализуемые на всех уровнях социальной организации. Авторитаризм большой политики автоматически спускается вниз, нагнетая административное давление управляющих и бесправие управляемых по всей вертикали власти (эманация диктата). И наоборот: устойчивая политическая свобода начинается снизу, с *демократии повседневного спроса*, и лишь закрепляется на уровне «больших институтов» (ветвей власти, избирательных процедур, партийной системы и т.п.).

При этом правовая модель органична для экономик, построенных на производительной, креативной активности граждан, тогда как сырьевые экономики в либеральной демократии, как минимум, не нуждаются. В той мере, в какой инновационный маневр является для нас вынужденным и безальтернативным, политическая модернизация должна опережать обновление экономики и реализовываться вопреки текущей социально-экономической конъюнктуре.

13. Таким образом, страна ввергается в очередной *мега-проект* – со всеми исключительными возможностями, но и повышенными рисками, свойственными такого рода историческим предприятиям.



Все это подводит к одной из ключевых проблем российской идентичности, связанной с процессами модернизации.

Статус сырьевой страны не сводится к экономике, даже вкупе с ее политическими производными. Складывается *культура недоделанности*, цивилизация «низких переде-

лов». В качестве сырьевого продукта или полуфабриката страна начинает производить образование и знание, научные открытия и технические идеи. Генерируются полусырые проекты всего и вся, нередко гениальные, но реже доходящие до воплощения. Живым сырьем становится население, используемое как расходный материал при освоении земель, строительстве городов и уникальных объектов, в военных победах и служении геополитической миссии, в индустриализациях и модернизациях, в экономических и социальных реформах, в идеологических экспериментах на человеке, в большой политике и обыденных взаимоотношениях с властью. Пассивным материалом в обработке предвыборными кампаниями и повседневной пропагандой оказывается сознание, с которым осуществляют очистку и возгонку, как с сырой нефтью. Наконец, сама страна становится историческим полуфабрикатом, вечной заготовкой под будущее «правильное» существование и благоденствие.

Природное богатство становится «сырьевым проклятьем» не только для экономики, но и для общества, для самой истории нации. Сырьевая ориентация делает государство высшим благодетелем – центром сдач-раздач, главной инстанцией перераспределения. Человек в этой схеме – не опора существования, не производящий источник благ, а живая деталь, придаток добывающей и экспортирующей машины (при всей относительной сложности современного бизнеса на ресурсах). От человека здесь не так много требуется, но тем меньше ему дается. Для власти идеал населения в такой стране – не очень большое, самовоспроизводящееся при минимальных затратах, послушное и

бессловесное стадо, желательно неталантливое, лучше бездарное. Социальная конструкция становится сугубо вертикальной и непроницаемой, разгороженной и поляризующейся. «Оптимальным» режимом здесь оказывается *добрая диктатура*, способная на подачки, минимальные или «относительно щедрые». В психологии нации закрепляется подкожный патернализм, оформляется синтез высокомерия и холуйства.

Но это – «идеальная» модель, в чистом виде реализуемая далеко не везде и не всегда. У России есть ряд свойств, мешающих формированию в ней классического *petro-state*, характерного для *oil countries*:

1) Страна слишком велика, и по населению, и по географии. Большая нефтегазодобывающая страна – принципиально иной формат, нежели малые сырьевые экспортеры. Это все же не Венесуэла, не ближневосточные режимы, не Алжир, Нигерия и пр. Одного сырьевого ресурса для поддержания и удержания этого целого заведомо не хватает, ни для кормления, ни для занятости, ни для сохранения геополитических позиций. Экономгеографы относят Россию к одиннадцати особым большим странам, которым по определению присуща относительная автохтонность. Это исключает нормальное существование на гипертрофии сырьевого экспорта.

2) Страна геополитична, включена в несущую конструкцию мирового порядка. Сырьевой экспорт-импорт порождает взаимозависимость между импортерами и экспортерами, которая уже в ближайшей перспективе становится резко асимметричной. Импортеры выход из этой зависимо-

сти найдут, уже находят (судя хотя бы по выделяемым ресурсам: капитализм фантастику не финансирует). Зависимость экспортеров сырья – импортеров продуктов и технологий, наоборот, становится все более критичной как для поддержания достигнутого уровня потребления (опора социальной стабильности), так и в финансово-экономическом, информационном, технологическом, военном и др. аспектах.

3) Страна амбициозна. Ей свойственно доказывать себе и миру свою исключительность и продвинутость. Роль сырьевого (хотя бы даже и благоденствующего) придатка для нее унизительна, если не позорна. Наоборот, интеллектуальные, моральные, технологические и т.п. прорывы – важнейшее звено российских идеологий. И не зря: страна особо (хотя и по-своему) талантлива. Но сырьевое прозябание постоянно сдерживает заряженную энергию и креативность. На что в действительности способны страна и ее народ, не знает никто, поскольку опыта свободного самовыражения здесь в истории еще просто не было.

Итак, в генетике богатой ресурсами страны заложены одновременно «сырьевое проклятье», и неслабый потенциал несырьевого развития. Какая линия доминирует, а какая выпадает в рецессию на том или ином этапе развития, определяется сочетанием ряда факторов. Кроме того, если иметь в виду тип экономики, с одной стороны, и тип институциональной и политической среды, с другой стороны, то здесь возможны самые экзотические сочетания (что Россия не раз демонстрировала с редкой выразительностью, особенно в XX веке).



Эти запутанные комбинации несколько проясняются, если соотнести их со структурой базовых ценностей, которые условно можно обозначить триадой *безопасности, потребления и самореализации*⁶¹.

Проблема уже в том, что эти ценности по-разному и даже противоречиво реализуются для *человека и общества*, с одной стороны, и для *государства и власти* – с другой.

Безопасность государства обеспечивается защитой от внешних агрессий и внутривластной стабильностью, включая силовые воздействия на собственное население. Безопасность для гражданина связана с защищенностью от посягательств врагов и сограждан, но и от избыточного, несанкционированного, в том числе силового вмешательства со стороны государства.

Потребление для человека во многом обуславливает качество жизни, для многих – банальную самоцель. Для власти потребление в стране может быть и экономической, и политической целью (минимальные гарантии как обеспечение социальной стабильности или рост благосостояния как условие электоральной поддержки власти, в частности, как один из главных мотивов предвыборных кампаний⁶²), но может быть и делом заведомо вторичным – ресурсом, эко-

⁶¹ Эти триада предложена ad hoc, не претендует на полноту, но, тем не менее, перекликается с известной формулой, отражающей обычные человеческие страсти: *власть, деньги и славу*.

⁶² Причем в данном случае речь не просто о содержании политтехнологий, но о более фундаментальном свойстве демократий, основанных на правильных выборах: качество жизни человека оказывается здесь в итоге едва ли не высшей ценностью.

номия которого позволяет решать прочие задачи, включая эпохальные.

Самореализация для человека может быть сверхутилитарной ценностью, выходящей за пределы безопасности и потребления (и даже им противоречащей), а для власти – ядром идеологии, концепции и образа существующего порядка (например, историческая или геополитическая самореализация страны, нации, амбициозного режима, эксплуатирующего возбужденную национальную гордость в условиях предельно сжатого потребления, ценой нагнетания экстремальной опасности для граждан, как внешней, так и внутренней).

Принято считать, что у России есть два главных богатства: природные ресурсы и человеческий потенциал. Если рассмотреть вышеописанные комбинации ценностей в альтернативе «недра – люди», то примерно понятно, к какой политике склоняются варианты сырьевой ориентации социума и варианты, основанные на активной производительности населения. Но это лишь большой тренд, в реальной жизни допускающий самые разные расклады. История обозначает закономерность, общую тенденцию, но не дает прямых выходов на самоограничение государства и власти, на ценность индивида и суверенитет лица, на свободу и право как на атрибуты несырьевого развития. Наоборот, известны впечатляющие попытки провести частичную модернизацию и построить несырьевую производственно-экономическую, научно-технологическую и оборонную базу, используя население как расходный ресурс, как сырье истории. Так, СССР провел форсированную индустриали-

зацию и создал машиноподобное сельское хозяйство на дармовом поту, на страхе, на крови и костях народа. Такой же ценой и почти в том же режиме обеспечивались технологические прорывы, создавался полный научный комплекс. Страна работала на покорение мира в режиме максимального самообеспечения и почти полной изоляции от этого самого мира. Ресурсный социум привычными методами сам себя, как за волосы, выдергивал из сырьевой зависимости, пытаясь создать фундамент собственного производства и научно-технического креатива. И при этом парадоксальным образом нагнетал в политике и институтах то, что в корне противоречит самой идее несырьевого развития: чем масштабнее были задачи производственного и инновационного прорыва, тем более ресурсным становилось отношение к человеческой массе.

Эта классическая мобилизационная модель, почти идеально реализованная в Советском Союзе, соответствующим образом расставила ценности между властью и обществом. Безопасность государства, как внешняя, так и внутренняя, обеспечивалась погружением населения в пространство непрерывной опасности; страх был главным стимулом работы и лояльности. Эта биополитика строилась на боли и смерти. Не говоря уже о том, что самореализация государства обеспечивалась за счет предельного свертывания массового потребления, возможностей индивидуальной и групповой самореализации. В результате в борьбе за несырьевую модернизацию была создана модель, в корне противоречившая самой идее социума, автоматически раскрывающего потенциал несырьевого саморазвития.

В Советской России этот парадоксальный эффект получил свое крайнее выражение, однако для российской истории это не было чем-то радикально новым. Наоборот, это противоречие является для нас генетическим. В богатой ресурсами стране ген несырьевого развития не только присутствовал, но и периодически пробивался, причем как собственной энергией, так и под внешними воздействиями – в условиях «исторической необходимости», как правило, перед угрозами или после внушительных поражений. В зависимости от ситуации выходы к несырьевой модели обеспечивались либо политической модернизацией и поползновениями к свободе – либо, наоборот, мобилизационными методами, свертывавшими ранее завоеванные или дарованные гражданские свободы и права. Политическая история России – не только нескончаемые борения между сырьевыми и несырьевыми моделями экономики и политики. Это еще и метания между политической модернизацией и архаической мобилизацией как инструментами преодоления сырьевого прозябания, выхода на создание самостоятельной и относительно современной производственно-технологической базы. Иначе говоря: развилка «второго порядка».



Здесь принципиально важны мотивы и стимулы производственного и инновационного развития, которые, при всей внешней схожести процессов и технических результатов, в разных обществах могут быть достаточно разными.

В одних случаях массовое производство ориентируется на массовое потребление. Это самораскачивающийся контур, в котором потребности одновременно во все большем

объеме удовлетворяются, но и во все большем объеме генерируются, подпитывая и наращивая поток инноваций, будь то нанороботы и космическая навигация или бритвенные станки с пятью лезвиями. В такой системе человек повышает свою ценность и как производящая инстанция, и как субъект потребления. Внутренняя энергия саморазвития высвобождается в режиме цепной реакции. Рост качества жизни и создание новых условий для самореализации автоматически наращивают потребности, которые, в свою очередь, еще более возбуждают циклы производства и инноваций. Этот процесс закономерно ведет и к политической эмансипации: человек, и как производитель, и как потребитель, становится *гражданином*. Производственная и технологическая модернизация сопровождается решительным обновлением социально-экономической и общественно-политической системы, т.е. сменой идентичности. Такие страны становятся лидерами – как в своем цивилизационном ареале, так и для тех, кто в эту глобальную орбиту развития так или иначе втягивается. Словом, почти для всех. Включая нас.

В других случаях большой сырьевой потенциал, тем более вкуче с рядом других факторов (потребности военной организации для собирания и сохранения территории или для подготовки внешней экспансии, синдрома геополитического и ментального суверенитета, инерции культуры, социальной и духовной организации общества, метафизики власти, сакрализации государства и т.п.), не позволяют обратиться критической массе, необходимой для запуска такого рода цепной реакции. И тогда энергия саморазвития не только не находит выхода, но и вырабатывается в системе

множества ограничений и в отсутствии основных стимулов. Человек, оставаясь ресурсом, продолжает рассматриваться не с точки зрения роста его потребностей и расширения возможностей самореализации, а с точки зрения *отдачи*. Уникальный человеческий потенциал даже здесь проявляет себя, но не в массовом самовыражении, а чаще в шедевральных проявлениях (синдром «музейной гениальности»), не в массовой реализации, а в сугубо авторских начинаниях (синдром нереализуемого проекта, «бумажной архитектуры»). Отставание накапливается, все более усугубляясь сдерживанием модернизации политической системы: население не становится нацией граждан, государство продолжает доминировать и оставаться самоценной инстанцией. Энергия, талант и даже гений расходуются прежде всего во имя *силы и славы власти*, а значит, крайне узко и не как сам себя наращивающий потенциал, а как «природное» явление, как «людские недра».

Далее оказывается, что эти столь разные системы, построенные на саморазвитии или внешних вызовах, в мире сосуществуют не изолированно друг от друга, а в сложных взаимоотношениях все обостряющейся конкуренции – экономической, политической, военной, интеллектуальной. Эти вынужденные контакты проявляют отставания и тем самым провоцируют рывки с целью, как минимум, догнать. Для одних непрерывная модернизация становится формой естественного существования; для других столь же естественными становятся искусственные, спорадические рывки модернизации догоняющей.

Здесь важнее, не кто лидирует или вторичен в этой гонке преследования (иногда догоняющим удается в отдельных моментах даже заскакать вперед). Важнее сама энергетика процесса – какими стимулами и какой силой обусловлено движение вперед: собственным напором раскованного саморазвития – или же внешними вызовами, угрозами, поражениями, оскорбительными проигрышами и уязвленными амбициями. В одних случаях движение реализуется как внутренняя потребность, в других – как результат специальных, сверхординарных усилий по преодолению «трения покоя».

Однако и здесь остается развилка. Осознав отставание и испытав его последствия, общество (или власть) может попытаться привести страну в движение, освобождаясь от балласта политической архаики, будь то крепостное рабство, казарменный коммунизм или посттоталитарная бюрократия. Но можно замахнуться на рывок, опять обеспечиваемый ценной форсированной мобилизации, не раскрепощением, а *построением*.

Первый вариант базируется на понимании ряда принципов:

– успешное догоняющее движение, каких бы повышенных темпов оно ни требовало, может быть только эволюционным, кумулятивно набирающим «крейсерскую скорость», а не революционным прыжком через пропущенные фазы развития напрямиком в будущее (или хотя бы в достигнутое другими настоящее);

– такое движение может быть только фронтальным и целостным, исключая выборочные, фрагментарные бро-

ски, частичные прорывы и односторонние забеги в отрыве от «тылов»;

– в условиях неизжитой политической архаики и преобладания *модернизации сверху* обновление социально-политической системы является необходимым условием модернизации экономики и технологий.

Форсированные варианты производят впечатление неординарной идейной и политической силы, способной осуществить мобилизацию, но в действительности являются выражением патологической слабости власти перед лицом естественных процессов и живых тенденций. Простые и прямые решения в какие-то моменты могут представляться единственно возможными. Однако в своих крайних выражениях ручное управление (которое, строго говоря, является не управлением, а руководством) свидетельствует не о наличии «сильной руки», а о концептуальном и организационном бессилии. Это затягивает. Управление входит в режим: «не хотите по-плохому – по-хорошему хуже будет».

На больших отрезках времени в таких случаях проявляется эффект *исторической отдачи*. Перед лицом очередного фундаментального вызова стране пытаются придать ускорение. Однако вместо сложной, изнурительной работы с политической системой и институциональной средой, к тому же еще и с отложенными эффектами, процесс начинают форсировать силовыми методами. В отсутствие внутренних, естественных стимулов саморазвития процесс столь же естественным образом «не идет». Его начинают проталкивать ужесточением политической системы и инструментов воздействия на экономику. Наступает *исторический*

разлом: страна делает (если делает) рывок вперед в отдельных производствах и технологиях, но в то же самое время *стремительно откатывается назад* в политическую архаику, в феодализм и рабство (отчасти в метафорическом, а отчасти и в совершенно прямом, собственном смысле этого слова: крепостные колхозов, рабы трудармий, ГУЛАГа, шарашек и т.п.).

В обычных, мирных условиях такие исторические монстры вообще не жизнеспособны⁶³. Для их «обитания» создается искусственная идеологическая, внутри- и внешнеполитическая среда. Какое-то время удается имитировать быстрые результаты, но в главном система стремительно входит в режим «пирамиды» обещаний. Страна начинает жить будущим. Это требует *веры*, что автоматически влечет за собой сакрализацию власти, искоренение еретиков и инакомыслящих, подавление рефлексии в любых ее проявлениях. Такой режим немислим без чрезвычайщины. Ему

⁶³ Упоминание монструозности в данном случае не является политическим ругательством, но используется понятийно, как обозначение противоестественного сростка, наличия внутреннего разрыва. Методологическая идея рассматривать любые общества, включая примитивные, не как отклонения от нами же заданной нормы, а имманентно, как системы, имеющие собственные основания, остается безусловной. Однако в обсуждаемом случае имеет место в том числе и *противоречие с собственными основаниями* – с идеей не только технологического, но и социально-политического *прогресса*, создания политических условий для максимального раскрытия потенциала саморазвития человека и социума, для естественного рывка в экономике, знании, технике и т.п. Монструозными такие сростки новейших технологий и политической архаики являются еще и потому, что срыв в политическое прошлое происходит здесь в том числе и в отношении ранее достигнутого состояния свободы именно *в данном обществе* (а не только в отношении внешней «нормы»).

жизненно необходим смертельный враг. Внутри страны врага изыскивают, точнее создают. Как и вовне. В характере режима начинают преобладать агрессивная взвинченность, воинственность, но одновременно пугливость и подозрительность. Милитаризм становится обеспечивающим условием рывка, но и его самоцелью. Производство и технологические прорывы подчиняются в первую очередь военным приоритетам (если не считать идеологии достижений). Движущим стимулом оказывается исключительно внешняя угроза или план собственной экспансии.

Это принципиально: военная составляющая значит для таких режимов гораздо больше, чем кажется. Обычно историю таких государств описывают по стандартной схеме: мирное развитие, разрываемое sporadическими военными столкновениями. Но с не меньшим основанием истории таких режимов можно писать и через почти сплошные привязки к войнам и вооруженным конфликтам. Это другая схема, в которой есть периоды предвоенные, военные и послевоенные, а периоды собственно мирного развития как таковые практически отсутствуют. Так, советский режим имел аромат пороха еще в утробном состоянии: революция 1905 г., Империалистическая (Первая мировая) война... И далее: 1917 г., Гражданская война и военный коммунизм, коллективизация на штыках и предвоенная индустриализация, Великая отечественная, восстановление народного хозяйства, «холодная война», танки против ревизионизма и т.п.

Победа в Великой Отечественной не случайно осталась практически единственным эпизодом нашей истории XX в., сохранившим безоговорочную идеологическую ценность.

Однако за этим фактом сознания стоит нечто существенно большее. Если посмотреть на эту историю в свете мотивов и регуляторов развития, именно Война оказывается здесь ключевым, центральным звеном, своего рода *историческим шарниром*. Она стала трагедией для страны, но временным спасением для режима, его идеологическим алиби. Если бы ее не было, вся довоенная история теряла бы шансы даже на какое-либо подобие исторического оправдания. Победа в Войне стала временным триумфом, отчасти и столь же временно отодвинувшим на второй план довоенные и военные зверства и провалы власти. Однако эта же Победа стала началом конца режима (в теннисе это называют «скрытый матчбол»). С этого момента основания для мобилизационного порыва становятся все более эфемерными и тают буквально с огнями победного салюта. Послевоенное восстановление, «холодная война», ядерный паритет, космос, удержание соцлагеря как главного военного трофея – все это подпирало порядок, у которого оставалось все меньше собственных мотивов мобилизации, а значит, и энергетики движения. Режим «окончательно кончился» после «холодной войны», причем вовсе не обязательно в результате поражения в ней (что до сих пор иногда оспаривается), а именно в результате ее окончания. Разрядка похоронила режим, в принципе не способный на саморазвитие в условиях мира и даже на конверсию – в том числе идеологическую, политическую и социальную.

Может показаться, что все эти обстоятельства на настоящий момент утратили свою актуальность. Однако в действительности мы все еще не вышли из постсоветского

состояния и не рассчитались со многими чертами той эпохи. В эпоху свертывания глобальных военных противостояний большая страна, не вскрывшая в себе источники внутренней энергии саморазвития, обречена. Когда один из умных и порядочных наших ученых-политиков искренне и категорически заявляет, что в нынешних условиях никакие инновации невозможны, если только власть не возьмет за руку бизнес и не посадит его рядом с госструктурами для договоренности об инвестициях в инновационные проекты, в этом есть много правды, но и страшное откровение. Страна, выйдя из мобилизационного режима, так и не обрела, не проявила в себе естественных источников саморазвития. Можно, конечно, «брать за руку» в порядке мягкой мобилизации и «добровольного» принуждения – тем более, что в данный момент других вариантов, действительно, практически нет. Но гораздо важнее тут же задаться вопросом о том, в чем заключается глубинный, генетический, системный порок режима, в котором инновации сами по себе не нужны, даже невозможны и запускаются только из-под палки. И что надо сделать, чтобы ситуацию изменить, хотя бы подвинуть к изменению. Без ответов на эти вопросы любая стратегия модернизации и инновационного развития будет не стратегией, а не самым удачным планом работы на ближайшее полугодие.

Если бы речь шла только о наших собственных проблемах, можно было бы эти вопросы отложить. Но инновационное развитие – это прежде всего вопрос конкуренции и конкурентоспособности. Мы и так выходим на это мировое ралли на продукции отечественного автопрома – против

мощных иномарок. Теперь выясняется, что и этот шедевр нашей механики не заводится. Но мы продолжаем толкать машину сзади руками и ногами, даже не задумываясь о том, что мотор надо капитально чинить, а лучше менять.



И точно также мы, как и прежде, пытаемся провести *модернизацию без смены идентичности*. В итоге неудач и растущего напряжения идентичность в таких случаях, как известно, все же меняется... но в обратную сторону.

Чтобы не повторить этот трагический урок истории, надо с самого начала осмыслить модернизацию не как техническое, а тем более рукотворное действие, но как задачу *кардинальной смены идентичности*.

Эту задачу приходится решать в условиях жесточайшего дефицита времени. И решать ее предстоит системно и размеренно, без иллюзий быстрых эффектов.

Быстро и без тяжелой работы самообновления такие задачи вообще не решаются.

Но нужна была совершенно детская вера в спасительную силу молитвы и исповеди, для того чтобы вообразить себе, что народ может в одно прекрасное утро покаяться, сбросить с себя все грехи и затем встать обновленным и разить врагов врученным ему божьим мечом. Те, кто глубже понимали исторические задачи, знали очень хорошо, что для истинного обновления нужны многие годы и много бескорыстного и самоотверженного труда.

Б.Н. Чичерин

Для записей

Для записей

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

АЛЕКСАНДР РУБЦОВ

РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ВЫЗОВ МОДЕРНИЗАЦИИ

ISBN 978-5-9506-0447-8



Подписано в печать 18.08.2009 г. Формат 60x90 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 16,25. Заказ 1330. Тираж 500 экз.

Отпечатано ЗАО «Экон-Информ»
129329, Москва, ул. Ивовая 2. Тел. (499) 180-9305